

Валерий  
Михайлов

## ЭЛИЗИЙ ЗЕМНОЙ

(Книга о Евгении Боратынском)

Глава пятнадцатая  
ПЕРВАЯ КНИГА И «ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ»

### Поэзия не опаздывает

Книга «Стихотворения Евгения Баратынского» получила разрешение в цензурном комитете в марте 1827 года, однако отпечатали её лишь полгода спустя, 21 сентября.

Она состояла из трёх частей: «Элегии», «Смесь» и «Послания». Открывалась книга элегией «Финляндия»; во второй части были собраны стихотворения *на случай*; и, наконец, в третьем разделе шли послания к Гнедичу, Давыдову, Дельвигу, Пономарёвой и другим.

Почти все произведения ранее были напечатаны, однако многие из них Боратынский переработал заново – и не только потому, что готовился издать отдельной книгой, а по своей привычке постоянно совершенствовать стихи. Из неизвестных читателю пьес были включены всего несколько свежих эпиграмм.

Книга ещё не вышла из московской печатни, а Пушкин у себя в Михайловском, куда он приехал, чтобы отдохнуть от столичной суеты, сделал свой первый набросок статьи о Боратынском, за творчеством которого он неотрывно следил все последние годы:

«Наконец появилось собрание стихотворений Баратынского, так давно и с таким нетерпением ожидаемое. Спешим воспользоваться случаем высказать наше мнение об одном из первоклассных наших поэтов и (быть может) ещё недовольно оценённом своими соотечественниками.

Первые произведения Баратынского обратили на него внимание. – Знатоки с удивлением увидели в первых опытах зрелость и стройность необыкновенную.

Сие преждевременное развитие всех поэтических способностей может быть зависело от обстоятельств, но уже предрекало нам то, что ныне выполнено поэтом столь блистательным образом.

Первые произведения Баратынского были элегии, и в этом роде он первенствует. Ныне вошло в моду порицать элегии – так в старину старались осмеять



оды; но если вялые подражатели Ломоносова и Баратынского равно несносны, то из этого ещё не следует, что роды лирический и элегический должны быть исключены из разрядных книг поэтической олигархии.

Да к тому же у нас почти не существует чистая элегия. У древних отличалась она особым стихосложением, но иногда сбивалась на идиллию, иногда входила в трагедию, иногда принимала ход лирический – (чему в новейшее время видим примеры у Гёте)».

Что остановило Пушкина?..

Конечно, он писал по памяти, не имея ещё перед собой книги Баратынского. Конечно, другие образы теснились в воображении, иное просилось на бумагу... Но мысли о поэзии друга, о его поэтической личности всё же не покидали Пушкина: недаром в послании к Дельвигу, написанном в те же дни, есть и упоминание о Баратынском:

<...> Прими ж сей череп, Дельвиг; он  
Принадлежит тебе по праву.  
Обделай ты его, барон,  
В благопристойную оправу.  
Изделье гроба преврати  
В увеселительную чашу,  
Вином кипящим освяти  
Да запивай уху и кашу <...>.  
Или, как Гамлет – Баратынский  
Над ним задумчиво мечтай <...>.

Образ *Баратынского как Гамлета* – многого стоит. Пушкин угадал в блистательном элегике – философского лирика. Причём угадал – в самый момент его явления, возникновения... Именно в это время Баратынский окончательно созревал как поэт в своём новом качестве: вот-вот появится «Последняя смерть», а вслед за ней другие подобные стихи – по содержанию и «удельному весу» мысли иные, чем прежде, – стихи тихого золотого свечения и литые, весомые, как золото... – И Пушкин всё это предчувствует, предвидит – *провидит*.

В конце октября «Московский телеграф» напечатал объявление: «Издание *Стихотворений Баратынского* исполняет давнишнее желание публики: иметь собранными в одну книгу все мелкие стихотворения певца Финляндии, Пиров и Любви <...>».

Как сам поэт отнёсся к своей первой книге, какие чувства испытывал?.. Он гостил тогда в Мару, среди родных, – и об этом его пребывании на родине ничего не известно. Другьям своим он ни слова о книге не написал, словно бы считая её выход обычным событием, не достойным разговора. Впрочем, возможно, промолчал по скромности. К тому же издание сборника затянулось на несколько лет, и содержание его – новостью не было...

Издатель Полевой прислал Баратынскому в Мару несколько экземпляров книги и заодно положил в посылку издательские новинки, среди которых были новые главы «Онегина». Поэт в ответном письме сердечно благодарил «любезного Николая Алексеевича» и прежде всего завёл разговор о Пушкине:

«<...> Про “Онегина” что и говорить! Какая прелесть! Какой слог блестящий, точный и свободный! Это рисовка Рафаэля, живая и непринуждённая кисть живописца из живописцев. Что касается до меня, то не могу сказать, как я вам обязан.

Издание прелестно. Без вас мне никак бы не удалось явиться в свет в таком красивом уборе. Много, много благодарен. Довершите ваше одолжение, исполнив ещё одну, покорнейшую просьбу. Пошлите барону Антону Антоновичу Дельвигу 600 экземпляров. На Большой Миллионной, в доме г-жи Эбелинг. Между нами особые счёты и отношения. Для отсылки такого количества экземпляров, разумеется, нужны деньги; может быть, вы теперь не имеете готовых, а потому я пишу к моему тестю, чтоб он доставил к вам 100. Я вам без того много должен. Позвольте вас уверить, что, ежели не окупится издание, я всё равно буду исправным должником. При выпуске издания сделайте одолжение доставить моему тестю 12 экз., в том числе 1 на александрийской бумаге. Это для раздачи моим московским родным. Вас же, любезный Николай Алексеевич, прошу доставить по экземпляру к<нязю> Вяземскому, Дмитриеву, Погодину, попросите вашего братца принять от меня на память мои мелочи, а ваш крепостной экземпляр удостоите поставить в вашей библиотеке между Батюшковым и В. Л. Пушкиным. Пришлите мне ещё 8 экземпляров. Сколько комиссий! Беда иметь дело с стихотворцем. Простите мне всё это во имя господина Феба <...>».

Сугубо деловое письмо, написанное добродушным светским тоном, – и ни слова о собственных стихах.

Сдержаны, в духе времени, и дарственные надписи на книге 1827 года: «Пушкину от Е. Баратынского и комп.», «Его превосходительству Ивану Ивановичу Дмитриеву от Сочинителя».

По мнению филолога Е. Купреяновой, сборник Баратынского подвёл итоги *пройденному пути*. (Заметим, неполные итоги: ведь поэма «Пирры» в книгу не вошла.) «Это был путь “первоклассного элегика” и блестящего стилиста. Само строение сборника, выдержанное в типе французских элегических сборников (Парни), толкало внимание критики в этом направлении. Намечавшийся в ряде стихотворений сборника отход Баратынского от жанровых норм и принципов французской элегической поэзии в сторону романтизма прошёл мимо внимания критики. Соответственно этому, одобрение, выраженное сборнику, носило как бы ретроспективный характер. Критика отдавала должное уже сделанному Баратынским, но не прибавляла ничего нового к установившейся за ним репутации “элегика” и молчала о дальнейших перспективах его творчества. Сборник, строение и состав которого в основном были намечены в 1824 г., опоздал выходом. Симптомом того явился выпадающий из общего хора похвал резкий отзыв о сборнике любомудра Шевырёва <...>».

Про этот отзыв любомудра немного позже... а пока про то, опоздала ли выходом первая книга Баратынского.

Конечно, было бы желательней, если бы она появилась раньше: поэт всегда отталкивается от сделанного и идёт дальше в своём развитии, а напечатанная книга показывает созданное лучше всего. Но, с другой стороны, поэзия *не опаздывает*: она всегда к сроку. Классицизм ли, романтизм ли или же что другое, определять это – забота критиков, думающих, что искусство имеет неуклонное поступательное развитие к новизне, однако новость в стихах – только *поэзия*, а не то или иное литературное направление. А *поэзии* – книга Баратынского была исполнена как редко какая из тогдашних, и потому выходом сборник, конечно, не опоздал.

Отклики на книгу появились быстро и были самого разного толку, хотя в основном благожелательные и одобрительные.

«Сын Отечества» отозвался в ноябре рецензией О. М. Сомова:

«<...> Стихотворения Баратынского удовлетворяют всем требованиям самых разборчивых любителей и судей Поэзии; в них найдёшь все совершенства, достающиеся в удел немногим, истинным Поэтам: и пламенное воображение, и отчётливость в создании, и чистоту языка, и прелестную гармонию стихов <...>».

Петербургская «Северная пчела» в декабре напечатала отзыв Ф. В. Булгарина. В литературе они с Боратынским, после недолгого сотоварищества, уже несколько лет были открытые и непримиримые противники. На «корриде» тогдашней русской словесности Булгарин носился, как бешеный бык, весь истыканный «бандерильями» эпиграмм, среди которых самые колкие, безусловно, принадлежали Пушкину и Боратынскому. Одну из самых беспощадных Боратынский опубликовал незадолго до этого в «Московском телеграфе»:

«Что ни болтай, а я великий муж!  
 Был воином, носил недаром шпагу;  
 Как секретарь, служебную бумагу  
 Вам начерню, перебелю; к тому ж,  
 Я знаю свет, – держусь Христа и беса,  
 С ханжой ханжа, с повесою повеса;  
 В одном лице могу все лица я  
 Представить вам!» – «Хотя под старость века,  
 Фаддей, мой друг, Фаддей, душа моя,  
 Представь лицо честного человека».

(1826)

Может, поэтому Булгарин начал свою рецензию исподволь:

«Не всякий журналист удостоился стольких сатир, эпиграмм и критик, в разных видах, как аз грешный! И верно ни один из моей собратии так мало не гневался на них, как я. Свидетельствуюсь всеми, кто меня знает. Напротив, если сатира или эпиграмма написана остроумно, – я первый утешаюсь ими, потому что имею о них моё собственное мнение. Я думаю, что если сатира или эпиграмма заключает в себе правду – надобно исправляться; если в них один вымысел, то они идут мимо; если стихи хороши и завязка замысловата, то сатира или эпиграмма, переменяя цель и применяясь в течение времени к разным лицам, доходят до потомства, как сатиры Марцияла, Персия, Ювенала, Боало. Сатиры и эпиграммы имеют то же действие, что стрельба в сражении: метят в одного, а попадают в другого. Пуля виноватого сыщёт; сатира и эпиграмма найдут свой предмет в свете. Здоровый не боится лекаря, ни аптеки. – Долг платежом красен. Как аукнется, так и откликнется. Писал я критики, писали и противу меня. Наконец, попались и вы, любезный Поэт, в руки мои <...>. Прочёл раз, прочёл другой – и критическое перо полетело под стол. Честь и хвала, г. Поэт! Вы победили меня звуками своей лиры! <...>».

Весьма сомнительно, чтобы одобрение Булгарина было вполне искренним: слишком уж скользкий был человек. Скорее всего хотел помириться... Однако Боратынский если в ком разуверился, то навсегда.

В канун нового, 1828 года, в Петербурге в «Северных цветах» вышла подробная рецензия Плетнёва, который по-прежнему пристально следил за творческим путём Боратынского:

«Появление стихотворений Баратынского, поэта, давно известного своим отличным дарованием и вкусом, должно быть принято с особым вниманием. <...> Сочинения Баратынского представляют образец точности слога. Он выражает мысли свои так верно, что читатель может заметить и почувствовать их самые лёгкие оттенки. Нет слов, поставленных не у места, необдуманно или невольно. Краткость речи не только не вредит ясности стихов его, но придаёт им особенную силу. <...> Что касается до гармонии стихов, Баратынский заменил однозвучную гладкость языка переливами тонов. <...> Он не увлёкся владычеством нынешней европейской поэзии, обольстительной по своей мечтательности, но справедливо порицаемой за изысканность и преувеличение украшений. Строгий вкус его воспользовался только тем в романтической поэзии, что картинам придаёт яркость красок, а истинам – заманчивость тайны. Его можно причислить к разряду прежних французских поэтов, вероятно бывших руководителями отроческих его опытов. Но с ними сошёлся он в одной отчётливости слога и мыслей. Он также не поминает их в тех местах, где хочет быть шутивным и остроумным. Глубокие чувствования, поэтические объёмы предметов, мысли сильные и живые, привлекательное простодушие в весёлости принадлежат собственно его дарованию. – Баратынский преимущественно поэт элегический. <...> В его элегиях не уныние, не мечтательность, но (если можно сказать) раздумье. <...> Увлекаясь движениями сердца, он не перестаёт мыслить и каждую свою мысль умеет согревать чувством. <...> В нас примечают противоречие надежд и желаний. Оно-то и составляет прелестное разнообразие элегий Баратынского. Иногда близкий к слезам, он их оставит и улыбнётся, зато и весёлость его иногда светится сквозь слёзы. Детская чувствительность и ум философа под строгою властью тонкого вкуса составляют его главный характер».

Плетнёв вновь блеснул широтой взгляда и глубиной понимания поэзии Баратынского, что особенно чувствуется в окончании его рецензии.

В том же номере «Северных цветов» в подборке мыслей и замечаний Пушкина напечатан его афоризм о Баратынском:

«Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах».

Не обошёл своим вниманием книгу известный всему тогдашнему пишущему сообществу чужак и рифмоплёт граф Дмитрий Иванович Хвостов. Человек по натуре добрый, он прощал множеству насмешников, для которых служил потехою, все их шутки и издёвки, но страсти к неуёмному сочинительству не оставлял, будучи уверен в их великих достоинствах. (Кстати говоря, и титул графа он получил весьма нелепым образом – от короля Сардинии, что говорит о том, что сардинский суверен вольно или невольно также послужил *потехе*.) Петру Вяземскому хватило двух фраз, чтобы нарисовать портрет графа: «Хвостов сказал: “Суворов мне родня, а я стихи плету”. – “Вот биография в нескольких словах, – заметил Блудов, – тут в одном стихе всё, чем он гордиться может и стыдиться должен”». (Суворов, действительно, был *роднёй* знаменитого графомана, только лишь по линии жены: Хвостов был женат на его племяннице.)

Весьма почтенный годами сочинитель прислал Баратынскому письмо, в котором витиевато благодарил его за удовольствие, доставленном «напечатанием стихотворений». Одну из эпиграмм он принял на свой счёт и сообщал, что она, «очень замысловатая», ему весьма понравилась:

Поэт Графов в стихах тяжеловат,  
 Но я люблю не злобного собрата;  
 Ей! ей! не он пред светом виноват,  
 А перед ним природа виновата.

Конечно, и благодарные слова, и цитирование эпиграммы были только предлогом, чтобы поведать Боратынскому свои свежеиспечённые вирши:

Ты, Боратынский, прав, пусть слог тяжеловат.  
 Коль мал, посредствен дар, Графов не виноват.  
 Виновен тот певец неугомонный хват,  
 Кто с Фебом, музами живёт за панибрата,  
 Рассудку объявля в стихах своих разлад,  
 В один сливает ключ и небеса и ад.  
 Кто мыслит, чувствует без цели наугад,  
 И благонравия устав отринуть рад,  
 Коль кто восторга чужд и чужд любви собрата,  
 Не может тот сказать: природа виновата.

Снабдив Боратынского своим «прибавлением», Хвостов заодно любезно подарил его и другими своими рифмами: «Я за удовольствие себе поставлю препроводить к вам ещё печатную мою переписку стихами с г. Языковым. Будьте к ней благосклонны, продолжайте как начали меня любить и верьте почтению и преданности с коими есть и буду и проч.»

Осталось неизвестным, ответил ли Боратынский что-нибудь сардинскому графу...

### Своё место на Парнасе

В январе 1828 года журнал Любомудров «Московский вестник» напечатал литературный обзор «за 1827 год» Степана Шевырёва, в котором он совершенно иначе, чем другие критики, оценил книгу Боратынского.

22-летний Шевырёв был ярким поклонником новой немецкой философии – и именно по её образцам судил современную русскую словесность. Боратынский отметил одно его стихотворение в альманахе «Урания» ещё в 1826 году и в письме к Пушкину советовал приглядеться к молодому поэту: «<...> Нам очень нужна философия. Однако ж позволь тебе указать на пиэсу под заглавием «Я есмь». Сочинитель мальчик лет осмнадцати и, кажется, подаёт надежду. Слог не всегда точен, но есть поэзия, особенно сначала. На конце метафизика, слишком тёмная для стихов <...>».

Тут всё понято и угадано наперёд: как в стихотворении метафизика затемнила поэзию, так и в жизни Шевырёва философия вскоре вытеснила стихи, хотя самобытным мыслителем он так и не сделался, а остался только лишь толкователем и распространителем идей своих кумиров.

В пору юности Шевырёва эти идеи, касаемо литературы, выразил его ровесник, друг и соратник Дмитрий Веневитинов: «<...> У нас язык поэзии превращается в механизм: он делается орудием бессилия, которое не может себе отдать отчёт в своих чувствах и потому чуждается определительного языка рассудка. <...> Давно ли



сбивчивые суждения французов о философии и искусстве почитались <...> законами. И где же следы их? Они в прошедшем или рассеяны в немногих творениях, которые с бессильною упорностью стараются представить прошедшее настоящим».

С этих позиций, на которых стояли Любомудры, Степан Шевырёв и обрушился на Боратынского:

«В сем году издано собрание стихотворений Баратынского. Достоинство и характер поэта яснее определяются, когда мы вдруг смотрим на все его произведения в одном полном собрании. Посему, хотя стихотворения Баратынского и прежде были известны публике, но до сего собрания она не знала ещё определённой его физиогномии. По нашему мнению, г. Баратынский более мыслит в поэзии, нежели чувствует, и те произведения, в коих мысль берёт верх над чувством, каковы напр<имер> “Финляндия”, “Могила”, “Буря”, станут выше его элегий. В последних встречаем чувствования давно знакомые и едва ли уже не забытые нами. Сатиры его (в которых он между прочим обвиняет и себя, нападая на плаксивость наших поэтов) часто сбиваются на тон дидактический и не столько блещут остроумием, сколько щеголеватостию выражений. Это желание блистать словами в нём слишком заметно, и потому его можно скорее назвать поэтом выражения, нежели мысли и чувства. Часто весьма обыкновенную мысль он оправляет в отборные слова и старательно шлифует стихи, чтобы придать гляncy своей оправе. Он принадлежит к числу тех русских поэтов, которые своими успехами в мастерской отделке стихов исключили чистоту и гладкость слова из числа важных достоинств поэзии. Но несмотря на сии достоинства в слогe г. Баратынского, он однообразен своими оборотами и не всегда правилен, обличая нередкими галлицизмами влияние французской школы».

Очевидно, что молодому критику, столь небрежно обозревающему книгу, любезна лишь новизна идей и слога, а собственно поэзия его мало занимает. Отрицая *французскую* школу, он превозносит *немецкую*, будто бы та или иная школа определяет достоинство поэзии. Однако *хватить* трудов Шеллинга и Фихте, ещё не значит *схватить Бога за бороду и Аполлона за лиру*. Шевырёв не замечает, что в коротком отзыве противоречит сам себе, сначала говоря, что Баратынский более мыслит, чем чувствует, а следом утверждая, что он «поэт выражения, нежели мысли и чувства». Эта сбивчивость и резкая угловатость суждений показывает лишь то, что критик не чувствует и не понимает вообще *природу мысли* у Баратынского. Мысль в стихах Баратынского вся основана на чувстве: слияние двух начал образуют *поэтическую* мысль. Поэт и мыслит потому, что прежде всего чувствует; и, как ни глубока его мысль, ещё глубже и сильнее чувство. Шевырёв же, как типичный *русский мальчик*, увлечённый какой-либо новейшей теорией до запредельной крайности, оказался глух к поэтической гармонии мысли и чувства, воплощённой в отточенном слове.

Антон Дельвиг, прочитав этот номер журнала, откликнулся, как всегда, просто, живо и непосредственно. В начале весны он писал Боратынскому: «<...> люблю издали на игру страстишек журнальных. Как это ты, живучи в Москве, не приучил к повиновению мальчишек Шевырёвых и им подобных? Это стыдно. Докажи им, что статья о литературе 1827 года совершенно школьническая, и какая! Даже Булгарин прав, говоря о ней. Не напоминаю уже, что, писавши по-русски, надо знать по-русски; не худо сказать им, что с должным почтением не оценив отживших и современных писателей, нельзя кидать взора на будущее, или он

будет недалновиден. Скажи Шевырёву, что мы в нём видим талант в переводах с Шиллера, в свободе писать хорошие стихи, но ничуть не в вымыслах вдохновенных. Изысканность в подобию, может быть, будет ещё смешнее плаксивости Карамзинской и разуверений ¼ века Жуковского. Скажи ему, что он смешон, укоряя меня в невежестве. Он ещё азбуке не учился, когда я знал, что роман, повесть, Геснерова идиллия, несмотря на форму, суть произведения *поэзии*».

Александр Пушкин в письме к Погодину (от 19 февраля 1828 года) отозвался о критике Боратынского коротко: «<...> Шевырёву пишу особо. Грех ему не чувствовать Боратынского <...>».

Филолог Е. Н. Купреянова пишет: «<...> Осенью 1826 г. Пушкин ввёл Боратынского в круг Любомудров и пытался привлечь его к участию в “Московском Вестнике”. Приняв непосредственное и активное участие в организации журнала, Пушкин надеялся подчинить впоследствии “Московский Вестник” своему влиянию. В этих целях Пушкин стягивал в “Московский Вестник” свои кадры, агитируя в письмах к Дельвигу, Языкову, Туманскому, Вяземскому за участие в журнале. Естественно не был забыт при этом и живший в Москве Боратынский <...>».

Конечно, не в характере Боратынского было что-то *доказывать* Шевырёву. В конце февраля он передал с Вяземским, уезжающим в Петербург, своё письмо к Пушкину. К тому времени он уже два месяца как возвратился в Москву из Мары и статью Шевырёва, конечно, прочитал. Однако ни словом он не упоминает о ней: разве что тень разочарования легла на письмо...

«Давно бы я писал к тебе, милый Пушкин, ежели бы знал твой адрес и ежели бы не поздно пришла мне самая простая мысль написать: Пушкину в Петербург. Я бы это наверно сделал, ежели б отъезжающий Вяземский не доставил мне случай писать к тебе – при сей верной оказии. В моём Тамбовском уединении я очень о тебе беспокоился. У нас разнёсся слух, что тебя увезли, а как ты человек довольно увозимый, то я этому поверил. Спустя некоторое время я с радостью услышал, что ты увозил, а не тебя увозили. Я теперь в Москве сиротствующий. Мне, по крайней мере, очень чувствительно твоё отсутствие. Дельвиг погостил у меня короткое время. Он много говорил мне о тебе: между прочим передал мне одну твою фразу, и ею меня несколько опечалил. – Ты сказал ему: “Мы нынче не переписываемся с Боратынским, а то бы я уведомил его” – и проч. – Неужели, Пушкин, короче прежнего познакомясь в Москве, мы стали с тех пор более чуждыми друг другу? – Я, по крайней мере, люблю в тебе по-старому и человека, и поэта. – Вышли у нас ещё две песни Онегина. Каждый о них толкует по-своему: одни хвалят, другие бранят, и все читают. Я очень люблю обширный план твоего Онегина; но большее число его не понимает. Ищут романической завязки, ищут обыкновенного и разумеется не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностью вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех её изменениях, проходит перед их глазами, *mais que le diable les emporte et que Dieu les benisse!* <но чтоб их чёрт побрал, а Бог благословил!> Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящиеся в нём почти свои чувства, почти свои мысли, облечённые в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большею обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его всё-таки не проза. Не принимай на свой счёт этих размышлений: они общие <...>».



И напоследок:

«Портрет твой в Северных Цветах чрезвычайно похож и прекрасно гравирован. Дельвиг дал мне особый оттиск. Он висит теперь у меня в кабинете, в благопристойном окладе <...>».

Писал ли нет тогда Пушкин Шевырёву, неизвестно, но, набрасывая вновь в 1828 году свою статью о Баратынском, он вспомнил и об этом отзыве, когда бросил общий взгляд на журнальную критику творчества своего друга:

«Пора Баратынскому занять на русском Парнасе место, давно ему принадлежащее. – Наши поэты не могут жаловаться на излишнюю строгость критиков и публики – напротив. Едва заметим в молодом писателе навык к стихосложению, знание языка и средств оно, уже тотчас спешим приветствовать его титулом Гения, за гладкие стишки – нежно благодарим его в журналах *от имени человечества*, неверный перевод, бледное подражание сравниваем без церемонии с бессмертными произведениями Гёте и Байрона (тут Пушкин сделал ироническое примечание: «Таким образом у нас набралось несколько своих Пиндаров, Ариостов и Байронов и десятка три писателей, делающих *истинную честь нашему веку*». – В. М.): добродушие смешное, но безвредное; истинный талант доверяет более собственному суждению, основанному на любви к искусству, нежели малодуманному решению записных Аристархов. Зачем лишать златую посредственность невинных удовольствий журнальным торжеством.

Из наших поэтов Баратынский всех менее пользуется обычной благосклонностью журналов. – От того ли, что верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность менее действует на толпу, чем преувеличение (*exageration*) модной поэзии – потому ли, что наш поэт некоторыми эпиграммами заслужил негодование братии, не всегда смиренной, – как бы то ни было критики изъявляли в отношении к нему или недобросовестное равнодушие или даже неприязненное расположение. – Не упоминая уже об известных шуточках покойного Благоняменного, известного весельчака – заметим, что появление Эды, произведения столь замечательного оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок – и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных, появление Эды подало только повод к неприличной статейке в Северной Пчеле и слабому возражению, кажется, в Московском Телеграфе.

Как отозвался Московский Вестник об собрании стихотворений нашего первого элегического поэта! – (Упоминаю обо всём этом для назидания молодых писателей). – Между тем Баратынский спокойно усовершенствовался – последние его произведения являются плодами зрелого таланта <...>».

Набросок статьи Александра Пушкина так и остался в черновых записях, неизвестным читателю, но подобные мысли примерно в то же время высказал в «Северных цветах» О. М. Сомов в своём «Обзоре российской словесности на 1828 г.»: «<...> Как оценены были стихотворения Баратынского, одно из приятнейших явлений в русской поэзии? <...> Здесь или явное нежелание признать достоинства поэта или умышленное недоразумение. Неужели только это и можно было сказать о поэзии Баратынского? Так позволительно судить о произведениях какого-нибудь незрелого юноши с незрелым талантом. Певец Эды, Пиров, Финляндии, творец многих элегий, дышащих чувством истинным и глубоким, и посланий, блестящих остроумием свободным и неподдельным, достоин был, чтобы, говоря о произведениях его, критик взвешивал слова свои с большею

осторожностью и отчётливостью, а не распространялся об одном механизме стихов, которые не составляют главного совершенства поэзии Баратынского».

### Быт и бытие

Однако отношение к стихам Баратынского в литературных изданиях не изменилось. «Дамский журнал» напечатал предлинный разбор «Стансов» («Судьбой наложенные цепи...»), автор которого (вероятно, сам издатель, П. И. Шаликов) тупо, неостроумно и мелочно пытался высмеять чуть ли не каждую строку; С. П. Шевырёв так топорно отозвался о стихотворении «Последняя смерть», что Дельвиг написал об этом в письме к Баратынскому (март 1828 года): «<...> Суждение же его <...> воняет глупой посредственностью».

Между тем и «Стансы», и в особенности «Последняя смерть», написанные в 1827 году, – произведения, с которых начался новый этап творчества Баратынского: зрелый мастер, доведя элегию до совершенства, обратился к философской лирике и сразу же поднялся на невиданную высоту.

Предшествовал ли этому взлёту эмоциональный толчок?

Что так поразило, ранило его сердце, когда на исходе весны 1827 года он приехал в свою *тамбовскую глушь*, в Мару?

Может, сильно сдавшая за последние годы, какая-то потерянная и ушедшая в себя мать?.. Вконец ветшающий родимый дом, просевший, словно могила, в сырую землю посреди вековечного, неизбывного молчания степей?.. Старый, запущенный сад с порушенными строениями, которые когда-то любовно возводил отец?..

Судьба поэта была вроде бы улажена: и свобода, и любящая жена, и крошка дочь... – окончилось, казалось бы, бесконечное прозябание в неопределённости, *упали наконец судьбой наложенные цепи*, – но почему же и теперь он не ощущал всей полноты чаемого всю жизнь счастья?.. Какая *отрава* точила кровь и мучила воображение?..

В Мару под прошлой жизнью была проведена черта:

<...> Я твой, родимая дуброва!  
Но от насильственных судьбин  
Молить хранительного крова  
Пришёл просить я не один.

Привёл под сень твою святую  
Я соучастницу в мольбах:  
Мою супругу молодую

С младенцем тихим на руках.  
Пускай, пускай в глуши смиренной  
С ней, милой, быт мой утая,  
Других урочищ вселенной  
Не буду помнить бытия <...>.

(«Судьбой наложенные цепи...», весна 1827)

Но заклинание не помогло: другие урочища вселенной не отпускали...  
*Быт* отступил – предстало *бытие*.

Совершенно новое для себя стихотворение написал тогда Боратынский... Впрочем, эсхатологические мотивы тогда носились в воздухе. Это было время, когда и в Европе и в России толковали о комете, которая должна была через несколько лет упасть на Землю и чуть ли не погубить всё живое. В. Ф. Одоевский даже написал книгу о гибели Земли в результате этого столкновения, причём человечество будто бы с восторгом ждёт своего растворения в огненной стихии, становясь Солнцем. Дж. Байрон, напротив, предсказывал в поэме «Тьма» гибель жизни на Земле от того, что Солнце погасло... Боратынский далёк от космических катаклизмов – ему вполне хватает земных. Может быть, единственное, что связывает «Последнюю смерть» с предыдущими его стихами, это несколько строк из написанного чуть раньше стихотворения «Судьбой наложенные цепи...»:

<...> Промчалось ты, златое время!  
С тех пор по свету я бродил  
И наблюдал людское племя  
И наблюдая восскорбил <...>.

Глубочайшая скорбь, наверное, и подвигнула его к «Последней смерти»...

Неизвестно, начал ли он писать это стихотворение ещё в Москве или приступил к нему в Маре. Даты под стихами поэт обозначал крайне редко. Датировка же этого произведения условна: «До начала 20-х чисел ноября 1827» – и основана по времени вероятного срока посылки стихотворения из Мары в Петербург – Дельвигу.

Есть бытие; но именем каким  
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье:  
Меж них оно, и в человеке им  
С безумием граничит разуменье.  
Он в полноте понятия своего,  
А между тем, как волны, на него,  
Одни других мятежней, своенравней,  
Видения бегут со всех сторон:  
Как будто бы своей отчизны давней  
Стихийному смятенью отдан он.  
Но иногда, мечтой воспламененный,  
Он видит свет, другим не откровенный <...>.

Огранка этого большого стихотворения – мерный, завораживающий пятистопный ямб 12-строчной строфы, найденной для выражения невыразимого: долгое и отчётливое дыхание ясной и суровой мысли.

Это *бытие меж сном и бдением*, порождающее видения, интуитивно прозревает *стихийное смятение отчизны дальней* – быть может, ещё до-временной хаос, из которого появился мир, – и тут же оно открывает картину грядущего:

Созданье ли болезненной мечты  
Иль дерзкого ума соображенье,  
Во глубине полночной темноты  
Представшее очам моим виденье?

Не ведаю; но предо мной тогда  
Раскрылися грядущие года;  
События вставали, развивались,  
Волнуюся, подобно облакам,  
И полными эпохами являлись  
От времени до времени очам,  
И наконец я видел без покрова  
Последнюю судьбу всего живого <...>.

*Мечта* – по-нынешнему *фантазия*; природа видения непонятна самому поэту; ясно лишь одно: всем своим существом он давно, может быть, с самого раннего детства пытался понять: откуда взялось *всё это* (жизнь)? и чем же *оно* кончится?..

Сначала мир явил мне дивный сад;  
Везде искусств, обилия приметы;  
Близ веси весь и подле града град,  
Везде дворцы, театры, водометы,  
Везде народ, и хитрый свой закон  
Стихии все признать заставил он.  
Уж он морей мятежные пучины  
На островах искусственных селил,  
Уж рассекал небесные равнины  
По прихоти им вымышленных крил;  
Всё на земле движением дышало,  
Всё на земле как будто ликовало <...>.

Видение поначалу открывается картиной царства человека, заселившего всю землю и властвующего над стихиями. Люди сумели покорить природу, выдумав «*хитрый* свой закон». Каков эпитет! (Эпитетом Боратынский, как никто иной, мог разом обнажить суть, открыть, выявляя смысл, новые, неожиданные пласты образа.) *Хитрый* – значит: искусный, мудрёный, изобретательный, замысловатый, затеяливый, но и: злостный, лукавый, коварный (В. Даль). Самолёты и ракеты, чудо XX века, и рукотворные острова в море, появившиеся в конце XX века и в веке XXI, – всё это видится *во глубине полнотной темноты* посреди степных, почти что безлюдных пространств...

Но что-то тревожное уже таится в этом *дивном саду* – и выражено оно всего одним зыбким словом – *как будто* («Всё на земле как будто ликовало...»).

Пока ещё кажется, что могущество человека утвердилось на земле раз и навсегда:

Исчезнули бесплодные года,  
Орагаи по воле призывали  
Ветра, дожди, жары и холода,  
И верною сторицей воздавали  
Посевы им, и хищный зверь исчез  
Во тьме лесов, и в высоте небес,  
И в бездне вод, сражённый человеком,  
И царствовал повсюду светлый мир.

Вот, мыслил я, прельщённый дивным веком,  
 Вот разума великолепный пир!  
 Врагам его и в стыд и в поученье,  
 Вот до чего достигло просвещение! <...>

Однако разгадка той подспудной тревоги, что невольно ощущает видящий, в самой его лексике, в точно найденном слове: *прельщённый*.

Боратынский, обычно избегающий в своих стихах религиозных образов, словно бы проговаривается этим словом. *Прелесть*, по церковному толкованию, заблуждение, прельщение, обман.

Могущество разума в материальном мире, да, может быть, и сам разум, как и хвалёные достижения *просвещения* – не более чем прельщение, обман.

Не потому ли следом идут уже картины катастрофы человечества...

Прошли века. Яснеть очам моим  
 Видение другое начинало:  
 Что человек? Что вновь открыто им?  
 Я гордо мнил, и что же мне предстало?  
 Наставшую эпоху я с трудом  
 Постигнуть мог смутившимся умом.  
 Глаза мои людей не узнавали;  
 Привыкшие к обилью дольних благ,  
 На всё они спокойные взирали,  
 Что суеты рождало в их отцах,  
 Что мысли их, что страсти их, бывало,  
 Влечением всеильным увлекало.

Желания земные позабыв,  
 Чуждаяся их грубого влеченья,  
 Душевных снов, высоких снов призыв  
 Им заменил другие побужденья,  
 И в полное владение свое  
 Фантазия взяла их бытие,  
 И умственной природе уступила  
 Телесная природа между них:  
 Их в эмпирей и хаос уносила  
 Живая мысль на крыльях своих,  
 Но по земле с трудом они ступали,  
 И браки их бесплодны пребывали <...>.

*Движение*, деятельность отцов, добившихся материального изобилия, показалось сыновьям суетой: *умственная природа*, фантазии разума, оторванные от всего земного, победили в пресыщённом человеке – и началось вырождение, саморазрушение. Человечество будто бы перешло от одного заблуждения к другому, ещё более губительному, прельстившись на этот раз *умом*. И гибель не заставила себя ждать:

Прошли века, и тут моим очам  
 Открылася ужасная картина:  
 Ходила смерть по суше, по водам,  
 Свершилася живущего судьбина.  
 Где люди? где? Скрывалися в гробах!  
 Как древние столпы на рубежах,  
 Последние семейства истлевали;  
 В развалинах стояли города,  
 По пажитям заглохнувшим блуждали  
 Без пастырей безумные стада;  
 С людьми для них исчезло пропитанье;  
 Мне слышалось их гладное бляенье <...>.

Люди выродились; человеческий род заглох; – и никакой надежды на дальнейшее существование вчерашних владык природы и умозрительных мечтателей...  
 Последняя строфа – о безлюдье на земле:

И тишина глубокая вослед  
 Торжественно повсюду воцарилась,  
 И в дикую порфиру древних лет  
 Державная природа облачилась.  
 Величествен и грустен был позор  
 Пустынных вод, лесов, долин и гор.  
 По-прежнему животворя природу,  
 На небосклон светило дня взошло,  
 Но на земле ничто его восходу  
 Произнести привета не могло.  
 Один туман над ней, синее, вился  
 И жертвою очистительной дымился.

Апокалипсис, нарисованный поэтом, случился как бы сам собой. Одно непонятно: то ли от старости выродилось и вымерло человечество, то ли всё же от грехов. Боратынский не даёт прямого ответа, а может, и сам его не знает. Ни слова и о том, возродится ли человек на земле? Ведь природа не погибла вместе с ним, и солнце по-прежнему восходит над землёю. Не есть ли синее туман, что дымится *очистительной жертвой*, символ того земного чистилища, которое способно возродить человека, прельстившегося когда-то сначала своим мнимым могуществом, а затем столь же мнимой силою ума?..

### Фантазия или пророчество?..

Современники Боратынского, кажется, мало что поняли в этом стихотворении, хотя, как писала жена поэта, Настасья Львовна, обращаясь в его сестре, Варваре Абрамовне Боратынской, «<...> стихи Евгения Последняя смерть произвели большое впечатление <...>» (*перевод с французского*). Н.А.Полевой особо отметил это стихотворение среди пятидесяти других, напечатанных в номере



«Северных Цветов», определив его как «<...> первую пьесу по предмету, где вдохновенная поэзия сливается с философической идеею, и по выражению поэтическому <...>». Однако критик посчитал стихотворение *неясным*, приняв его за отрывок поэмы: «Неясная в нём мысль может объясниться в целом».

Странно, что Полевой не усмотрел *целого* в этой полной и законченной картине падения и вырождения *прелющённого человечества*. По-видимому, он безгранично верил в силу человеческого разума и не мог допустить даже в воображении такого печального исхода.

В.Г.Белинский, оглядывая в начале 1840-х годов поэзию Боратынского, отозвался об этом едва ли не самом важном, если не программном его стихотворении, довольно поверхностно. Сначала он отметил превосходный слог и назвал стихотворение «апофеозой всей поэзии г. Баратынского», где «вполне выразилось его мирозерцание», но затем небрежно заключил:

«Великолепная фантазия, но не более чем фантазия! <...>»

Далее тон Белинского делается непререкаем:

«И главный её недостаток заключается в том, что она везде является чёрным демоном поэта. Жизнь как добыча смерти, разум как враг чувства, истина как губитель счастья – вот откуда проистекает элегический тон поэзии г. Баратынского и вот в чём её величайший недостаток. Здание, построенное на песке, недолговечно; поэзия, выразившая собою ложное состояние переходного поколения, и умирает с тем поколением, ибо для следующих не представляет никакого сильного интереса в своём содержании. Мало того: сделавшись органом ложного направления, она лишается той силы, которую мог бы сообщить ей талант поэта.

Конечно, этот раздор мысли с чувством явился у поэта не случайно, – он заключался в его эпохе. Кто не знает пушкинского Демона? <...>» – и тут же перешёл к пространным рассуждениям о демонизме, по сути, забыв о разбираемом стихотворении.

В итоге критик пришёл к поистине парадоксальному выводу о Боратынском:

«Несмотря на его вражду к мысли, он, по натуре своей, призван быть поэтом мысли. Такое противоречие очень понятно: кто не мыслитель по натуре, тот о мысли и не хлопочет; борется с мыслию тот, кто не может овладеть ею, стремясь к ней всеми силами души своей <...>».

Заметим, Боратынской враждует не с мыслью, а с заблуждениями человеческого ума, с самообольщением человечества; а что касается «овладения» мыслью, то сам поэт ответственно сказал – разумеется, про себя – в первых строках стихотворения:

<...> Он в полноте понятия своего <...>.

Словом, как любому драм 1830-х годов, которые выдвинули требование *поэзии мысли*, мысль Боратынского показалась «неясной», так и «западнику» Белинскому, десятилетие спустя, помстилось то же самое – что поэт не сумел «овладеть ею». Это говорит лишь о том, что Боратынский разумел по-своему, – потому любому драм и критик, не сомневающиеся в истинности своих взглядов, и отвергали его. Никто из них не смог понять самобытность Боратынского, «критически переоценившего и просветительство, и байронизм, и натурфилософию» (И. Семенко).

Лишь в XX веке, когда многие черты нарисованной им в «Последней смерти» картины стали всё зримей и отчётливей проявляться, исследователям его творчества стало понятно, что его стихотворение, казавшееся кому-то лишь фантазией, – по сути пророческое.

Впрочем, оценки стихотворения по-прежнему весьма отличаются друг от друга и далеки от согласия.

Так, на П. Бицилли «Последняя смерть» произвела сильное впечатление, но он не нашёл в стихах того, чего искал, – *нового ритма* – и посчитал Боратынского лишь провозвестником нового поэтического пути:

«“Последняя смерть” Боратынского – по глубине исторического раздумья, по тону пророческого “видения”, по стилю, наконец (в особенности начало: “Есть бытие; но именем каким / Его назвать: ни сон оно, ни бденье...”), поразительно напоминает Лермонтова; *На что вы, дни...* кажется прямо-таки перенесённым из стихотворений Блока в издания сочинений Боратынского. Но Боратынский был именно предтеча. Поэт громадной силы, он был, однако, лишён гениальности. Он был весь во власти пушкинского ямба. Он лишь прозревал новый поэтический путь (т. е. новый ритм). Но вступил на него всё же не он, а Лермонтов <...>».

Всё это несколько спорно («предтеча», «лишён гениальности»), однако исключительно интересно: исследователь не сомневается в пророческом существе стихотворения.

Литературовед Э. Вацура, отметив, что «Последняя смерть» включается в круг эсхатологических стихов, широко распространившихся в русской поэзии с начала 1820-х годов, подчёркивает, что Боратынский глубоко своеобразен в трактовке этой темы: «<...> Гибель мира приходит не как воздаяние за порочность общества, а в результате естественного закона, – и потому она фатальна и неотвратима. Концепция старения человечества получает здесь наиболее полное и развёрнутое выражение. Покорив себе природу, человек добился полного благоденствия, но тем самым порвал с ней естественные связи. “Телесная природа” человека уступила “умственной” – и он обречён на вымирание. В последней строфе круг замыкается: “державная природа” вступает в свои права на обезлюдевшей земле».

Вряд ли учёный прав, сводя гибель мира лишь к естественному закону. Да, Боратынский никого *не судит*, не говорит прямо о воздаянии за прегрешения, но разве же он не показывает твёрдо и ясно порочность человеческой мысли, заблудившейся в прельщениях материального мира?..

Филолог С. Бочаров плавно обходит вниманием принципиальный вопрос о «воздаянии за порочность общества», оценивая *в общем* новый этап в творчестве Боратынского:

«Начинающийся поворот к возведению “личной грусти в общее значение”, как об этом скажет Мельгунов, обнаруживается “Последней смертью” (1827). Новое качество знаменуется обширной философско-исторической темой (молодой эпикуреизм поэта недавно не хотел знать истории). “Последняя смерть” – видение, “пророческий бред” (вспоминая опять-таки Тютчева) о грядущей истории человечества. Интимная тема рокового хода времени как судьбы человека и человеческих отношений, судьбы любви, расширяется до судьбы человечества, является романтической темой “старения человечества” и его “последней смерти” как парадоксального итога успехов “просвещения”, “пира разума” на земле; лирическое сознание насыщается содержанием истории и актуальным содержанием современной мысли, романтической философией истории».

Филолог И. Семенко точно заметила, что «Боратынский 1830-х годов понимает “поэзию мысли” как поэзию мысли философской». Она пишет: «Из круга русских шеллингианцев, бывших “любомудров”, вышли суждения о философской лирике

Баратынского, уникальные для того времени по сочувственному пониманию. К сожалению, эти отзывы немногочисленны, но только в них затрагивается специфика поэзии “нового” Баратынского. “Новый” Баратынский ставится выше “старого” <...>».

И. Семенко подробно прослеживает одну из главных тем «Последней смерти» – тему разъединённости человека и природы:

«В “Последней смерти” Баратынский вдвойне скептик – и по отношению к просветительству, к грядущим победам человеческого разума, и по отношению к идеалам “любомудров”».

Наступает наконец эпоха, когда всё материальное достигнуто; когда человек может “гордо” наслаждаться плодами своих трудов; когда “высоких снов призыв” заменил практические “побуждения”. Последнее есть как раз осуществление того, чего жаждали “любомудры”. Но Баратынский недаром ещё в своей ранней лирике утверждал, что “жизнь” и земные “волненья” – “одно”; что земные “страсти” – пища жизни и т. п.

Именно тогда, когда “душевные сны” вытесняют материальную “суету”, когда дух человека подымается до самых высот “эмпирея” и проникает в тайны “хаоса”, наступает конец человечества. <...>

Но природе человек не нужен; она прекрасно обходится без него. И “смертное” тело человека, и его “бессмертный” дух – исключены из её общей жизни. Земля продолжает свою жизнь, даже не заметив исчезновения человечества. <...>

В этом торжестве державной природы нет, однако, для Баратынского ничего ни прекрасного, ни умиротворённого; нет и никакого пафоса растворения в божественном <...>».

О божественном говорит Фёдор Тютчев в стихотворении «Последний катаклизм», написанном несколько лет спустя «Последней смерти»:

Когда пробьёт последний час природы,  
Состав частей разрушится земных:  
Всё зримое опять покроют воды  
И Божий лик изобразится в них!

Было ли это четверостишие отголоском *видения* Баратынского?.. Скорее, поэтов волновали одни и те же мысли. Но у Тютчева, представившем конец всего *земного*, единого с *небесным*, и речи нет о человеке...

Для Баратынского же всё бессмысленно, если нет человека.

«Трагизм “Последней смерти” Баратынского – следствие его представления об “одиночестве” человечества в мире, – пишет И. Семенко. – Так же как, по Баратынскому, в обществе одинок один человек, человечество “одинок” в мироздании.

Хотя Баратынский ни в какой мере не является “индивидуалистом” байронического толка, отправной точкой у него остаётся человек и человеческие “интересы”: это и разделяет его с “любомудрами”. Не будучи просветителем, он занимает гуманистическую позицию. Для него невозможен ни искренний, ни ложный пафос “растворения” в космосе. Отсюда – глубина его скорби. Баратынский не хочет такого растворения. Оно не утешает его. Картина жизни Земли после гибели человечества бесконечно грустна.

О “Последней смерти” хорошо написал когда-то Ю. Айхенвальд. Приведём его строки о Баратынском: “Он не понимает мира без человека... и первый рассматривает в связи с последним... Зачем нужна ненаселённая вселенная?”».

Литературовед Е. Лебедев подчёркивает стремление зрелого Боратынского быть предельно точным в выражении того *видения*, что возникло на грани двух миров – *земли и неба*, «к минимуму дистанции между словом и реальией»:

«<...> Проблема переключается из плана чистой стилистики (“слога”) в план миро-воззренческий: стиль становится не только *средством выражения*, но и *инструментом познания*. Без этой метаморфозы движение вперёд было бы невозможным. <...>

Боратынский выступает здесь, говоря его же словами, “сатириком беспристрастным”. Он не навязывает читателям своего мнения. “Последняя смерть” – это не мрачное пророчество. Это, скорее, мужественное предостережение, ибо читатели сами должны сделать для себя соответствующие выводы. Вот почему задача поэта, находящегося “в полноте понятия своего”, – показать это своенравное видение, ничего не искажая <...>».

Отказавшись *судить* прельщённого человека, Боратынский всё же *предостерегает* его от самообмана...

## Глава шестнадцатая «ГУБЕРНСКИЙ СЕКРЕТАРЬ ЕВГЕНИЙ БОРАТЫНСКИЙ»

### На вершине известности

По возвращении из Мары в Москву Боратынский вскоре поступил на службу в Межевую канцелярию.

... Два века спустя нам уже кажется странным то, что было совершенно естественным для дворян в первой половине XIX столетия и что просто объяснил Д. Н. Свербеев в своих записках: «По понятиям того времени каждому дворянину, каким бы великим поэтом он ни был, необходимо было служить или, по крайней мере, выслужить себе хоть какой-нибудь чинишко, чтобы не подписываться недорослем».

Свербеев заметил это по поводу вступления Николая Языкова на то же самое место, так как спустя три года именно поэт Языков сменил поэта Боратынского в Межевой канцелярии. Это ведомство тогда в шутку прозвали «укромным местом» для поэтов.

Языков вспоминал, что его предшественник за всё время службы посетил *присутствие* всего лишь один раз, да и то затем, чтобы принести присягу. Сам Боратынский весной 1828 года писал Николаю Путяте: «<...> Не гожусь я ни в какую канцелярию, хотя недавно вступил в Межевую; но, слава Богу, мне дела мало; а то было бы худо моему начальнику». Его начальник, Богдан Гермес, действительно, не загружал поручениями подчинённого, здраво рассудив, что они ему не по духу, да и не под силу. Это отнюдь не помешало Боратынскому продвинуться по службе: из коллежского регистратора он вскоре сделался губернским секретарём. Услышав звучание своей новой должности, поэт мечтательно заметил: «Мы, с моим новым чином, составляем славный Александрийский стих: Губернский секретарь Евгений Боратынский...»

Выслужив необходимый *чинишко*, он вышел в отставку, что произошло летом 1831 года. При этом получил весьма положительный служебный аттестат:

«Предъявитель сего служивший в Канцелярии моей Губернский Секретарь Евгений Баратынский, в службу вступил, как по формулярным спискам значится

из дворян, по Высочайшему повелению из Пажей за проступки рядовым Лейб-Гвардии в Егерский полк <...> произведён в унтер-офицеры <...> с переводом в прапорщики <...>; по Высочайшему Его Императорского Величества приказу уволен от службы за болезнь 826 генваря в 31 день; определён в Канцелярию Главного Директора Межевой Канцелярии 828 генваря 24, Указом Правительствующего сената переименован в Коллежские Регистраторы 828 февраля 20; а после сего Указом Правительствующего сената произведён Губернским Секретарём со старшинством с 14 апреля прошлого 1830 года; во время служения своего вёл себя похвально, должность исправлял прилежно, в штрафах и под судом не бывал <...>; к продолжению службы и к повышению чина всегда аттестовался способным и достойным, и к представлению его за службу <...> к знаку Отличия беспорочной службы в своё время препятствий совершенно никаких не имеется; после же по прошению его для определения к другим делам уволен, в засвидетельствование чего и дан сему Баратынскому сей Аттестат за подписанием моим и с приложением Герба моею печатью. – Москва. Июля 26 дня 1831 года. – Богдан Гермес».

Распрощавшись с любезным Гермесом, Боратынский обратился с письмом к своему преемнику, Николаю Языкову, в котором добродушно шутил: «Заняв моё место у Гермеса, ты обязан вполне заменить меня. Я служил два года с отличной ревностью, за что и удостоился повышения в чине. Расспроси Киреевского о моих служебных подвигах: я уверен, что это воспламенит тебя благородным соревнованием».

Итак, Боратынского уволили из канцелярии к *исполнению других дел*. Но всё у него по-прежнему, и нет ничего другого, кроме стихов, семьи да ещё, отчасти, литературных баталий, в которых волей-неволей приходится порой участвовать...

Весной 1828 года у Боратынских родилась вторая дочь – Екатерина; ей дали имя в память Екатерины Петровны, матери Настасьи Львовны. Вести хозяйство помогала Натали, младшая сестра Евгения, жившая в Москве. Это было как нельзя кстати: Софи, сестра Настасьи Львовны, уехала с отцом в подмосковную усадьбу Мураново.

Боратынский в 1828 году – на вершине своей славы и известности; ни до этого времени, ни тем более после у него не было такого. Биограф Гейр Хетсо отметил одно из частных писем, в котором содержится характерное свидетельство: «Баратынского все читали». Известный критик В. Т. Плаксин в статье «Взгляд на состояние русской словесности в последний период», вышедшей в 1829 году, назвал Василия Андреевича Жуковского «первым преобразователем» русской литературы, пробудившим новую поэзию, и далее заметил: «<...> среди множества мелочных и обыкновенных писателей стихотворцев явились два необыкновенные поэта». Речь о Пушкине и Боратынском. Пушкин, по мнению критика, отличается чрезвычайным богатством прекрасных картин и чистого вкуса; Боратынский – «<...> глубокостию чувствований, свойственною жителю севера и лёгкостию пиитической басни, или вымысла». Вывод критика таков: «Можно отгадать, на чьей стороне будет первенство; но время, судья независимый от настоящих успехов, решит, кому будет принадлежать первый венок – Пушкину или Баратынскому». О том, что Боратынский стал одним из знаменитых русских поэтов, свидетельствует и его избрание в один день с Пушкиным в действительные члены Общества любителей Российской словесности при Московском университете. Впрочем, поэт уже некоторое время принимал в нём активное участие».



Другое свидетельство его знаменитости – желание поручика Александра Тернберга издать литографированный портрет поэта в числе 250 экземпляров. Прошение об этом издании поручик направил в Московский цензурный комитет; к бумаге было приложена копия письма Боратынского к Тернбергу (по-видимому, ответ на его обращение): «Милостивый государь Александр Францович! – Желание ваше напечатать мой портрет мне слишком лестно, чтобы я думал и вздумал ему противиться. Охотно даю согласие требуемое цензурою и почитаю себя много обязанным вашим дружеским вниманием, честь имею быть и проч. – Евгений Баратынский. – 1828 года Апреля 13 дн.» Чуть позже жена, Настасья Львовна, писала к сестре Боратынского, Варваре, что «Евгения должны награвировать в “Северных цветах” и для этого с него недавно написали портрет, на который нужно долго смотреть – с первого взгляда не находишь никакого сходства <...>». Однако «непохожий» портрет Дельвиг так почему-то и не поместил в себя в «Северных цветах»... Впрочем, Боратынскому было совсем не до этого...

### «Аристократы» и «промышленники»

Журнальную политику тех лет определяли «демократы» Греч с Булгариным, сделавшие ставку на низкопробное чтение, имеющее коммерческий успех. Князь Вяземский поддерживал довольно «разношерстный» «Московский телеграф», но не издание Любомудров «Московский вестник», который Пушкин с Боратынским хотели сделать выразителем «аристократической», высокохудожественной литературы.

В начале 1828 года П. А. Вяземский, уехавший в Петербург, попросил Боратынского оказать ему небольшую услугу – договориться с издателем Николаем Полевым о расчёте за работу в «Московском телеграфе». Выполнив «препоручение», поэт спрашивал Вяземского в письме: «<...> Что наше или, лучше сказать, ваше журнальное предприятие? Неужели вы остановитесь на одном проекте. Не знаю, принесёт ли этот журнал большую выгоду редакторам; но он, без сомнения, будет полезен литературе. Забавно подумать, что решительно у всех теперешних наших журналистов нет ни малейшего понятия о вкусе (именно того, что было бы нужно), что почти все наши журналы преимущественно литературные, а ни один из издателей не имеет настоящего литературного образования. И вот между тем наши судьи! Скажите, кто написал этот позорный разговор о Персидской войне, напечатанный у Булгарина? C'est le coup de pied de l'ane <Это пинок осла>. Можно ли так подло потворствовать правительству или так низко выказывать личную вражду? Сверх того, сатира эта отвратительно обыкновенна, и как не чувствовать, что кто кидает грязью в своего неприятеля, марает в ней, во-первых, собственную свою руку. <...>»

Очевидно, что Боратынскому очень хотелось бы, чтобы Вяземский был полностью на его с Пушкиным стороне и вместе с ними участвовал в создании литературного журнала нового качества.

Боратынский ответил в этом духе и попутно черкнул немного о себе: «Не могу вам сообщить новостей светских: вы знаете, что я не живу в свете. Москва для меня множество домов и только. Любуюсь на них снаружи и, может быть, она и лучше снаружи, чем внутри. Отсутствие ваше для меня истинная потеря и, проходя мимо вашего дома, жалею, что могу любоваться одною архитектурою и не могу зайти к милому хозяину <...>».



«Московский вестник» не оправдал их с Пушкиным надежд: любомудры не обратили внимания на советы Пушкина и гнули свою «шеллингианскую линию», да и Погодин оказался неразворотливым редактором. Вскоре подписчиков у журнала почти не осталось, и в 1830 году он перестал выходить.

Не осуществилось желание Вяземского и Боратынского создать свой альманах, который бы представил литературу *просвещённого дворянства*.

Продукция литературных *промышленников* всё больше раздражала Боратынского. На совет Вяземского писать прозу он отвечал в апреле 1829 года: «<...> ваше одобрение для меня очень искучительно. Ваши разговоры произвели уже на меня своё действие, и я уже планировал роман, который напишу, ежели станет у меня терпения, а в особенности дарования. Кстати о романах, вышел роман Булгарина “Выжигин”. Неимоверная плоскость! четыре тома, в которых вы не найдёте не только ни одной мысли, ни одного положения, ни одной картины, ни даже того достоинства, которого можно ожидать от Булгарина, т. е. особенного знания некоторого рода людей, с которыми не знаются порядочные люди, оригинальности шпионских, ежели не литературных замечаний, нет, душа Булгарина – такая земля, которую никакой навоз не может удобрить. Роман его, *soi disant* <так сказать>, вроде Жильблаза, заключает в себе одну только характерную черту: посвящение министру юстиции <...>».

А чуть позже поэт пишет Вяземскому об отношении к новой поэме Пушкина: «<...> “Полтава” вообще менее нравится, чем другие поэмы Пушкина: её критикуют вкривь и вкось. Странно! Я говорю это не потому, чтобы чрезмерно уважал суждения публики и удивлялся, что на этот раз оно оказалось погрешительным; но “Полтава”, независимо от настоящего её достоинства, кажется, имеет то, что доставляет успех: почтенный титул, занимательность содержания, новость и надобность предмета. Я, право, уже не знаю, чего надобно нашей публике? Кажется, Выжигиных! Знаете ли вы, что разошлось 2000 экз. этой глупости? Публика либо вовсе одуреет, либо решительно очнётся и спросит с благородным негодованием: за кого меня принимают? <...>»

Разладились, а затем и прервались товарищеские отношения Вяземского и Боратынского с Николаем Полевым. Тот вдруг помирился с литературными дельцами Н. Гречем и Ф. Булгариным – и вскоре резко выступил против «аристократов». Поводом послужил только что вышедший двенадцатый том «Истории Государства Российского». Купеческий сын, Полевой был уязвлён, что вся история свелась исключительно к правителям: князьям и царям – и раскритиковал Карамзина в своей рецензии. Более того, он написал свою историю – «Историю русского народа», в которой попытался выявить «народное начало» в вековом развитии России. Пушкин с друзьями глубоко оскорбились «поруганием» своего учителя и кумира: труд Полевого они назвали пародией на Карамзина. (Впрочем, Александр Пушкин, в черновых набросках своей статьи, всё-таки не поддался сословному гневу, отдав должное самостоятельности исторической версии Н. Полевого.)

Евгений Боратынский не прошёл мимо этой историософской полемики. По прочтении статьи Николая Полевого он тут же сочинил эпиграмму – более при- страстную, нежели справедливую, и с отзвуком аристократического высокомерия:

В восторженном невежестве своём  
На свой аршин он славу нашу мерит;

Но позабыл, что нет клейма на нём,  
 Что одному задору свет не верит.  
 Как дружеским он вздором восхищён!  
 Как бешено своим доволен он!  
 Он хвалится горячею душою.  
 Голубчик мой! уверься наконец,  
 Что из глупцов, известных под луною,  
 Смешнее всех нам пламенный глупец.  
 (июль-ноябрь 1829)

Н. Полевой ответил Боратынскому своими эпиграммами в «Московском телеграфе», – на что последовали новые сатирические выпады Боратынского, ещё более колкие:

«Он вам знаком. Скажите, кстати,  
 Зачем он так не терпит знати?»  
 – «Затем, что он не дворянин».  
 – «Ага! Нет действий без причин.  
 Но почему чужая слава  
 Его так бесит?» – «Потому,  
 Что славы хочется ему,  
 А на неё Бог не дал права,  
 Что не хвалил его никто,  
 Что плоский автор он». – «Вот что!»  
 (май 1830)

И чуть позже появилась ещё одна эпиграмма на Полевого, где тот назывался *глупым писачкой*, который чванился в «Фебовом доме» и был изгнан за зазнайство богом искусства...

Сам по себе этот *обмен любезностями* малоинтересен: эпиграммы Боратынского немногим лучше, чем вирши Полевого. Однако показательно, с каким накалом защищает Боратынский литературу от падения в *плебейщину*, приносимую разночинцами, и в *пошлый рынок* торгашей от словесности вроде Булгарина. Боратынский остро чувствовал, что с утратой «аристократизма духа» словесность обесмыслится и превратится в «товар», – и никак не хотел с этим мириться...

...Теперь-то, спустя почти два столетия, мы видим, до каких ползучих глубин – точнее, *низин* – пошлости дошла коммерческая псевдолитература. *Аристократизм духа* – это высота нравственных понятий народа и чистота народной эстетики, воплощённые в творчестве самых даровитых его сыновей.

*Вера* напрямую связана с *языком*. Николай Калягин в «Чтениях о русской поэзии» приводит мысль выдающегося русского византиста Ф. И. Успенского: «Язык и религия – это два великих дара, из-за которых стоит бороться до истощения сил и с изменой которым народ необходимо теряет свою национальную самобытность и своё право на историческую роль». И следом объясняет, почему язык Пушкина за два века нисколько не устарел:

«<...> у русского языка есть **икона** – язык церковнославянский. Язык нашего богослужения не меняется на протяжении 1150 лет, и это предохраняет народный

живой язык великороссов от окончательной порчи. Человек, у которого на слуху годовой круг русского богослужения, просто не может говорить по-русски плохо. Сколько бы он ни уклонялся в сторону, сколько бы ни вихлял, он не сможет заблудиться в языке настолько, чтобы не найти потом дороги назад.

Но у нас есть и другая икона: русская классика. У нас есть Пушкин, про которого Страхов сказал: “У него был дар, превосходящий своей ценностью всякие подвиги и усилия; а именно – **красота душевных чувств** <...> он не воспел ни единого злого и извращённого движения человеческой души, и каждое чувство, им воспетое, имеет бесподобную меру красоты и здоровья. Поэтому, – замечает Страхов, – Пушкина следует считать великим воспитателем своего народа”. Этика Пушкина, этика Баратынского, этика Тютчева сохраняется, она закреплена в их произведениях. Пока мы с ними сверяемся, нам нелегко будет окончательно расчеловечиться».

Первые в ряду классиков русской поэзии во многом обязаны лучшим качествам души своему сословию – дворянству. «<...> это последние русские поэты, – приходит к выводу Н. Калягин, – в чьём творчестве отсутствуют процессы тления, ржавения, гнилостного брожения – даже и в зародыше. К любому из них применимо острое словцо Баратынского: “Такая поэзия лучше хлору очищает воздух”.

<...> в поэзии этих дворян **нас ничто не обманывает**. Она без всякого обмана (хотя бы даже и оптического) изящна и чиста, благородна и блистательна. Она такая – на самом деле».

...Эти две свои эпиграммы Боратынский напечатал в открытой Дельвигом в Петербурге, 1 января 1830 года, «Литературной газете». Она сразу же объявила: «Цель сей газеты – знакомить образованную публику с новейшими произведениями литературы европейской, и в особенности Российской», имея в виду под «образованной публикой», разумеется, дворянского читателя.

Про открытие газеты Боратынский узнал накануне события – от самого редактора; он тут же написал Вяземскому: «<...> вы вместе с ним издаёте “Литературную газету”: правда ли это? И как хорошо, ежели это правда! Что бы вы ни издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником малосильным, но усердным».

Боратынскому было хорошо понятно, что Булгарин и компания берут не качеством, а валом написанного. Из дворянских авторов, пожалуй, один лишь Пушкин писал постоянно и много, остальные – от случая к случаю. Н. А. Мельгунов, разумеется, нарочно преувеличил, когда сказал, что *аристократы* пишут чуть не по 90 строчек в год, тогда как *промышленники* – по 90 листов в месяц, – но по существу был прав. «<...> Против партий должно действовать партиями. Составим своё общество, призовём всех людей с дарованием и будем издавать труды его, ежегодно, ежемесячно, как придётся. Мы теряем потому, что мы ленивы, а противники наши деятельны. На публику действует не качество, а количество произведений. Все её мнения похожи на мнения религиозные. Они впечатлеваются повторением, а не убеждением. Одним словом, надо действовать, – писал Боратынский в январе 1830 года Вяземскому. – Вы скажете: *c'est bon a dire* <легко сказать>, и я пойму вас, но не так *c'est bon a faire* <легко сделать>. Попробуем; ежели не удастся, не нам привыкать к беззаботности <...>».

Но это всё же было благим желанием – не более того. Жизнь распорядилась по-своему. Самому Боратынскому всё больше приходилось заниматься хозяйством в

имениях, на *рифмы* времени не доставало. Да и вдохновению не прикажешь... Его участие в газете Дельвига было самым незначительным: всего несколько эпиграмм.

### Гимн отчаянья

Лирические стихи, написанные Боратынским вслед за «Последней смертью» в конце 1820-х годов, уже другие, чем прежде: они словно бы утяжелены суровой мыслью и весомым словом. Литой слог своею «плотностью» будто бы материализует то, что таилось в глубине предметов поэтического исследования. Как *поэт эротический*, поэт радостной и лёгкой любви и наслаждения, Боратынский, действительно, *умер*, как и предсказал в отклике на его женитьбу Лев Пушкин, хорошо знавший своего приятеля по молодому веселью. Но как поэт-мыслитель он только по-настоящему нарождался, – что его отпавшего и горюющего *Лёвушку* уже вряд ли интересовало. Предвидением гибели человечества в «Последней смерти» Боратынский, конечно, не исчерпал эту вечную тему – он додумывал её в сопутствующих стихах.

Какой-то величавой иронией проникнуто стихотворение «Смерть», написанное в конце 1828 года и переработанное в 1832-33 годах. Это мрачная, торжественная ода во славу смерти провозглашена подчёркнуто старинным слогом и исполнена предельной бнзнадёжности.

Смерть дочерью тьмы не назову я  
И, раболепную мечтой  
Гробовый остов ей даруя,  
Не ополчу её косою.

О дочь верховного Эфира!  
О светозарная краса!  
В руке твоей олива мира,  
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий  
Из равновесья диких сил,  
В твоё хранение Всемогущий  
Его устройство поручил.

И ты летаешь над твореньем,  
Согласье прям его лия  
И в нём прохладным дуновеньем  
Смирять буйство бытия.

Ты укрощаешь восстающий  
В безумной силе ураган,  
Ты, на берега свои бегущий,  
Вспять возвращаешь океан.

Даёшь пределы ты растению,  
Чтоб не покрыл гигантский лес

Земли губительною тенью,  
Злак не восстал бы до небес.

А человек! Святая дева!  
Перед тобой с его ланит  
Мгновенно сходят пятна гнева,  
Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою  
Людей недружная судьба,  
Ласкаешь тою же рукою  
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье –  
Условье смутных наших дней,  
Ты всех загадок разрешенье,  
Ты разрешенье всех цепей.

Глубокий и горький взгляд на существование природы и жизнь человека!..

«Дщерь тьмы», «согласье *пря*» (от старинного «пря» – спор) – архаизмами стихотворение усилено именно при его переработке, дабы сильнее показать эту древнюю могучую силу, *разрешающую* всё и вся на земле. Если по прошествии веков человечество ожидает *последняя смерть*, то потом та же участь постигнет и усмирённое «буйство бытия» на земле.

Филолог Ирина Семенко считает это стихотворение откликом на *натурфилософские построения Любомудров*, причём откликом весьма своеобразным: «Поэт приветствует мировую гармонию и поёт ликующий гимн её организатору, но им оказывается губитель, что противоречило учению натурфилософов... У В. Ф. Одоевского, например, говорилось в неопубликованном трактате “Сущее”, что жизнь есть “добро”, а смерть – “зло”. Прекращение жизни, как единственно возможное исправление её несовершенств, частных и общих, – таков парадоксальный вывод Баратынского. И вывод этот полон скорби».

*Ликующий гимн* – конечно, слишком: никакого ликования в тоне стихотворения нет, он скорее будничней, как обыденна неумолимая поступь всеобщей гибели. И торжественные ноты, и патетические восклицания – сгущённая до запредельного мрака ирония, неотличимая от скорби. Возможно, Баратынский таким образом и устроил свою «пря» с Любомудрами, однако вряд ли это было для него важным: он выражал свой собственный взгляд на жизнь и смерть.

По мнению И. Семенко, в поздней редакции «Смерти» Баратынский скрыто полемизирует с двумя крупнейшими поэтами XVIII века Державиным и Ломоносовым, в частности, с известной одой Державина «На смерть князя Мещерского» и «Преложением псалма 103» Ломоносова.

«<...> По-видимому, около середины 1830-х годов Баратынский подверг активной переоценке также и философские основы – в своей сущности оптимистически просветительские – русской оды XVIII века. <...>

В ужасе Державина <...> больше оптимизма, чем в отчаянном “гимне” Баратынского. Стихи Державина и заканчиваются оптимистическим призывом пользоваться “мгновенным даром” – жизнью.

Для Державина жизнь – большая реальность, чем смерть. В стихотворении Баратынского, наоборот, смерть действительно жизни и восхваление её – почти гимн божеству. Но он лишён радости.

По своему содержанию, по своему жанру (“гимн”), по своей интонации стихотворение Баратынского – отрицательная параллель к “Преложению псалма 103” Ломоносова. У Ломоносова устроитель вселенной – бог.

Совершенно излишне касаться здесь вопроса об отношении Ломоносова к религии; в центре внимания Ломоносова – прекрасная целесообразность мироустройства; ей радуется его просветительская мысль. <...>

Словесные совпадения <...> не оставляют сомнений в сознательной полемической направленности стихотворения Баратынского <...>.

Однако сам по себе спор с классиками русской поэзии – не главное для поэта: ему важно как можно полнее разобраться в собственной душе и в собственных мыслях.

Незадолго до стихотворения «Смерть» Боратынский перевёл с французского элегию А. Шенье о человеческой доле на земле – а по сути создал *своё* стихотворение, поскольку оригинал сильно сокращён и переработан:

Под бурею судеб, унылый, часто я,  
Скучая тягостной неволей бытия,  
Нести ярмо моё утрачивая силу,  
Гляжу с отрадою на близкую могилу,  
Приветствую её, покой её люблю,  
И цепи отряхнуть я сам себя молю.  
Но вскоре мнимая решимость позабыта  
И томной слабости душа моя открыта:  
Страшна могила мне; и ближние, друзья,  
Моё грядущее, и молодость моя,  
И обещания в груди сокрытой музы –  
Всё обольстительно скрепляет жизни узы,  
И далеко ищу, как жребий мой не строг,  
Я жить и чувствовать услужливый предлог.

...*Услужливый* предлог – многого стоит этот поразительный эпитет!..

Скрытая ирония «Смерти», касающаяся и верховных, надмирных сил («Всемогущий», «Святая дева!»), как и жалкая участь земного человека, что цепляется за жизнь («Из А. Шенье»), конечно, никак не решала вопроса: зачем так, а не иначе устроена жизнь.

### О вере и неверии

Как ни крути, а *без Бога ни до порога...* И Боратынский пишет, по-видимому, в том же 1829 году, по духу *религиозный* диалог двух любящих друг друга сердец.

Это большое стихотворение впервые вышло под заглавием «Сцена из поэмы “Вера и неверие”»; впоследствии оно печаталось под названием «Отрывок», хотя совершенно очевидно, что перед нами не часть чего-то, а законченное произведение.



Сюжет этого стихотворения почти не связан с внешним миром – но с развитием мысли, обусловленной душевными переживаниями героев.

*Он* – на вершине земного счастья: небо чисто и светло, и они с любимой вдвоём под густой липой, на свежем лугу, в виду свежей дубровы и весёлой реки, овеянные благоуханным ветерком, будто бы дышащим самим счастьем, – и *Она*, рядом с *Ним*, чувствует то же самое, равно наслаждается каждым мигот.

*Он* с умилением созерцает «красу творенья» и думает: «<...> велик Зиждитель, / Прекрасен мир!..»; в глазах его невольные слёзы благодаренья... И *Она* – так благодарна жизни и любимому, что не знает, о чём ещё молить Создателя:

<...> Ах! об одном: не пережить  
Тебя, друг милый, друг сердечный.

Одно лишь пожелание, высказанное произвольно, по привычке, по врождённому желанию любящих: *жить вместе и умереть вместе*. – Но этих обычных слов, невзначай произнесённых, хватило, чтобы гармония счастья была тут же нарушена.

Он

Ты грустной мыслию меня  
Смутила. Так! сегодня зренье  
Пленяет свет весёлый дня,  
Пленяет Божие творенье;  
Теперь в руке моей твою  
Я с чувством пламенным сжимаю,  
Твой нежный взор я понимаю,  
Твой сладкий голос узнаю...  
А завтра... завтра... как ужасно!  
Мертвец незрящий и глухой,  
Мертвец холодный!.. Луч дневной  
В глаза ударит мне напрасно!  
Вотще к устам моим прильнёшь  
Ты воспалёнными устами,  
Ко мне с обильными слезами,  
С рыданьем громким воззовёшь:  
Я не проснусь! И что мы знаем?  
Не только завтра, сей же час  
Меня не будет! Кто из нас  
В земном блаженстве не смущаем  
Такою думой? <...>

Древний ужас исчезновения, живущий в смертном, проснулся от легчайшего прикосновения мысли. Блаженство держалось лишь забытьём от страшного видения смерти: счастье сиюминутно, ненадёжно и в любое мгновение может изменить.

*Она* – по обычаю веры – пытается успокоить *Его*, напоминая, что есть другая жизнь, за гробом, обещанная Творцом:

<...> Ах! как любить без этой веры!

Но этот её вздох печален: яд сомнения любимого уже проник в кровь, и, наверное, *Она* больше по привычке произносит эти слова.

*Он* же, выразив свой затаённый страх, постепенно освобождается от помрачения и наполняется *верой*:

Он

Так, Всемогущий без неё  
Нас искушал бы выше меры;  
Так, есть другое бытие!  
Ужели некогда погубит  
Во мне Он то, что мыслит, любит,  
Чем Он создание довершил,  
В чём, с горделивым наслаждением,  
Мир повторил Он отраженьем  
И сам Себя изобразил? <...>

Несовершенство человеческого мира, этого «пира нестройного» слишком очевидно, оно не могло быть устроено благим Создателем, Который не может быть «не прав»:

Нет! мы в юдоли испытанья,  
И есть обитель воздаянья:  
Там, за могильным рубежом,  
Сияет день незаходимый,  
И оправдается Незримый  
Пред нашим сердцем и умом.

Что это? Вера ли, надежда? – или убеждение разума?..

Может быть, это не больше, чем недолгое облегчение после выговоренного, попытка *уверить* себя?.. Да разве и Творец оправдывается перед твореньем?..

От бывшего блаженства под густой липой не осталось ничего, лишь только мятежная мысль о сиюминутности жизни коснулась души. Не есть ли сама мысль, само малейшее сомнение – мятеж против Всемогущего?..

Последние слова произносит подруга – она по-прежнему не сомневаясь верит в Бога, но тот яд сомнения, что излил любимый, заметно поколебал её:

Она

Зачем в такие размышленья  
Ты погружаешься душой?  
Ужели нужны, милый мой,  
Для убеждённых убежденья?  
Премудрость вышнего Творца  
Не нам исследовать и мерить;

В смиренности сердца надо верить  
 И терпеливо ждать конца.  
 Пойдём; грустна я в самом деле,  
 И от мятежных слов твоих,  
 Я признаюсь, во мне доселе  
 Сердечный трепет не затих.

Филолог Евгений Лебедев проникновенно и глубоко разобрал «Отрывок» в своей книге «Тризна», сравнив стихотворение-диалог с чем-то «вроде концерта для двух скрипок с оркестром». Он считает, что это стихотворение не имеет себе равных среди других произведений Боратынского «по *обнажённости отчаяния*», добавляя: «А ведь отчаяние у него почти всегда сопутствует проникновению в сущность предметов». Особенно *страшным* кажется исследователю «финал этого концерта <...>»: *Он* всё-таки пришёл к утешающему примирению с земным исчезновением – зато у неё всё только начинается, ибо *Она* приняла на себя «весь этот ад, который он носил в душе». Е. Лебедев так заключает свои размышления:

«Всё, что продумал и прочувствовал Боратынский после 14 декабря 1825 года, сказалось в этом произведении. Но ведь по логике-то вещей после *таких* стихов надо вообще прекращать писать. Ведь в “Отрывке” этом присутствуют и Шекспир, и Гёте (которых Боратынский любил), и вообще все поэты до *Него* и после *Него*, которые задумывались или ещё только собираются задуматься над предметом *Его* размышлений. Ведь если вышний-то творец не оправдывается перед человеком, не объяснит ему, *ради чего* человек в этой-то жизни мучился, то вся история человечества (и материальная, и духовная) предстанет *коллективным безумием*. Ведь на такие стихи вдохновляет не муза, а жизнь...»

Верны ли эти, стилистически несколько путанные, суждения?

Да, *Она*, без сомнения, разделила духовную трагедию своего любимого, но её «сердечный трепет» – ещё не разуверение в Боге, – поэт отнюдь не утверждает этого, – а глубина со-чувствия, со-переживания.

«Привязка» стихотворения к восстанию декабристов вообще весьма искусственна: Боратынский, по-видимому, с самого раннего детства испытывал религиозные сомнения. Он сам признавался о том *яде в сердце*, который сызмалу отравлял его душу, хотя со стороны, наверное, казалось, что жизнь его вполне счастлива и безоблачна. Конечно же, эти тяжкие чувства и мысли касались сущности жизни и смерти, а не тех несправедливостей, которые были в общественном устройстве.

Детская душевная смута; юношеское увлечение Вольтером, да и всей тогдашней французской литературой, весьма далёкой от религиозного духа; запоздалое милосердие *Божьего помазанника* – царя; наконец, наказание декабристов уже новым монархом, которое могло показаться излишне суровым, – всё это, возможно, повлияло на взгляды и убеждения Боратынского, увеличило его сомнения.

Вообще, верил ли он в Бога?

Безусловно, *мысль*, мучившая его, не всегда, а, быть может, и часто не совпала с традиционным православным мировоззрением, в котором его воспитывали с младенчества. Ни творчество, ни личная переписка не дают ответа на этот вопрос. Боратынский словно бы уклоняется от прямого и определённого ответа. Если он *верил*, то не считал нужным заявлять об этом; – но и *безбожником* он

себя не проявил. Его истинные религиозные убеждения остались глубокой личной тайной.

Известно письмо П. А. Вяземского своей жене В. Ф. Вяземской от 19 декабря 1828 года по поводу стихотворения «Смерть» («О смерть! Твоё именованье...»), в ранней редакции которого была строфа: «Ты Фивских братьев примирила; / Ты, в неумеренной крови / Безумной Федры, погасила / Огонь мучительной любви»: «<...> Твоя критика на Боратынского слишком христианская, а в его стихах нет философии христианской: он на смерть смотрит совсем не христианскими глазами. И потому примеры, приведённые им, не должны казаться неуместными. Фивские братья и Федра тут представители двух идей, двух страстей: ненависти и любви испуганной, примеры эти всем знакомы и, следовательно, более кстати, чем другие. Впрочем, чтобы потешить тебя, скажу, что Пушкин с тобою согласен. Я вчера говорил ему и Боратынскому о твоём замечании, мы были одного мнения, а он твоего <...>».

Если говорить об «Отрывке», то «философия христианская» в нём, безусловно, есть – хотя и постоянно колеблемая сомнением...

Очевидно одно, – и «Отрывок» свидетельствует про это, – поэт ждал настоящего разрешения своих сомнений – «за могильным рубезом», где

<...> оправдается Незримый  
Пред нашим сердцем и умом.

«<...> говоря о вере Боратынского, следует проявлять осторожность, – считает Гейр Хетсо. – Его тоска по вере несомненна, но достиг ли он её когда-либо понастоящему? Как поэт-мыслитель Боратынский испытал на себе правду, заключённую в словах Льва Толстого: “Кто научился размышлять, тому трудно верить, а жить в Боге можно только верой. Тертулиан сказал: ‘Мысль есть зло’”».

В «Отрывке», по мнению исследователя, перед нами внутренний диалог, происходящий в душе поэта. И Гейр Хетсо приводит убедительное доказательство того, что не «религиозная» жена учила вере Боратынского, а сам он убеждал её в правде религии: «Об этом у нас имеется высказывание Настасьи Львовны, которая говорит о муже, что “он стремился к тому, чтобы я так же веровала, как он, и когда я его просила не затрагивать этого вопроса, он весело отвечал, что надеется рассеять моё неприязненное отношение и убедить меня в невозможности разлуки двух любящих существ”».

...Боратынский, конечно, не прекратил писать стихов и после своего диалога о вере и неверии: постижение *отчаяния* не знает пределов. Об этом говорят его более поздние стихи...

Для понимания противоречий, гнетущих поэта, показательно одно стихотворение, написанное два года спустя, – светлое, чисто-звонкое, исполненное радости жизни, совершенное по звукописи...

Весна, весна! Как воздух чист!  
Как ясен небосклон!  
Своей лазурею живой  
Слепит мне очи он.

Весна, весна! Как высоко  
 На крыльях ветерка,  
 Ласкаясь к солнечным лучам,  
 Летают облака!

Шумят ручьи! Блестят ручьи!  
 Взревев, река несёт  
 На торжествующем хребте  
 Поднятый ею лёд!

Ещё древа обнажены,  
 Но в роще ветхий лист,  
 Как прежде, под моей ногой  
 И шумен и душист.

Под солнце самое взвился  
 И в яркой вышине  
 Незримый жавронок поёт  
 Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?  
 С ручьём она – ручей  
 И с птичкой – птичка! С ним журчит  
 Летает в небе с ней!

Зачем так радует её  
 И солнце и весна!  
 Ликует ли, как дочь стихий,  
 На пире их она? <...>

Высшую земную радость испытывает поэт – и вдруг в последней строфе говорит, на чём основана эта радость:

Что нужды! счастлив, кто на нём  
 Забвеньи мысли пьёт,  
 Кого далёко от неё  
 Он, дивный, унесёт!  
 (Весна 1832)

Счастье, по Боратынскому, – в *заввеньи* мысли.  
 Но это счастье если и доступно, то ненадолго.  
 Вряд ли ему приходилось надолго забываться и на радостном *пире стихий*...  
 О том, что творилось у него внутри, быть может, точнее всего говорит одно из самых последних его стихотворений, написанное за несколько месяцев до внезапной кончины и обращённое к жене, Настасье Львовне:

Когда, дитя и страсти и сомненья,  
 Поэт взглянул глубоко на тебя,

Решилась ты делить его волненья,  
В нём таинство печали полюбя.

Ты, смелая и кроткая, со мною  
В мой дикий ад сошла рука с рукою:  
Рай зрела в нём чудесная любовь.

О, сколько раз к тебе, святой и нежной,  
Я приникал главой моей мятежной,  
С тобой себе и небу веря вновь.  
(*Январь – февраль 1844*)

Это стихотворение свидетельствует об автобиографичности «Отрывка», или «Сцены из поэмы “Вера и неверие”»...

Дикий ад мысли сопровождал поэта всегда.

## Глава семнадцатая МУЗА ЭПИКИ И ЛИРИКИ

### После «Бала»

В октябре 1828 года Боратынский передал Дельвигу переписанную набело поэму «Бал», над которой он работал более трёх лет. Отрывки из поэмы уже выходили прежде; наконец она была закончена. 3 декабря Антон Дельвиг писал Александру Пушкину: «<...> желаю тебя поскорее увидеть и вместе с Баратынским, который, если согласится ехать в Петербург, найдёт меня в оном. <...> “Бал” отпечатан, в пятницу будет продаваться <...>». Повод повидаться был: по воле издателя Дельвига, Пушкин и Боратынский *встретились* под одной книжной обложкой – «Бал» вышел с «Графом Нулиным» одним томом, озаглавленным «Две повести в стихах».

Сравнительно небольшая, в шестьсот с лишним стихов, отточенная, писанная блестящим живым слогом, поэма «Бал», пожалуй, не только не уступала, но превосходила и «Эду», и «Пирь» силою изображения страстей и энергией действия. Несомненно, Боратынский достиг новой своей эпической высоты, при этом подарив русской поэзии небывалый в ней доселе *женский* характер – княгини Нины, который по обаянию, богатству натуры и силе чувств не уступал лучшим *мужским* образам. Красавица Нина, прототипом которой Боратынскому послужила графиня А. Ф. Закревская, всевластная покорительница сердец, пала сама жертвой страсти, обернувшейся глубокой любовью, и, не пережив измены, покончила с собой...

Достаточно перечитать несколько строф, чтобы убедиться, с какой великолепной пластикой нарисован психологический образ героини и как ярко блещет его слог:

<...> Злословье правду говорило.  
В Москве меж умниц и меж дур  
Моей княгине чересчур  
Слыть Пенелопой трудно было.



Презренья к мнению полна,  
Над добродетелию женской  
Не насмехается ль она,  
Как над ужимкой деревенской?  
Кого в свой дом она манит,  
Не записных ли волокит,  
Не новичков ли миловидных?  
Не утомлён ли слух людей  
Молвой побед её бесстыдных  
И соблазнительных связей?

Но как влекла к себе всеильно  
Её живая красота!  
Чьи непорочные уста  
Так улыбались умильно!  
Какая бы Людмила ей,  
Смирясь, лучей благочестивых  
Своих лазоревых очей  
И свежести ланит стыдливых  
Не отдала бы сей же час  
За яркий глянец чёрных глаз,  
Облитых влагой сладострастной,  
За пламя жаркое ланит?  
Какая фея самовластной  
Не уступила б из харит?

Как в близких сердцу разговорах  
Была пленительна она!  
Как угодительно-нежна!  
Какая ласковость во взорах  
У ней сияла! Но порой,  
Ревнивым гневом пламенея,  
Как зла в словах, страшна собой  
Являлась новая Медея!  
Какие слёзы из очей  
Порой катилися у ней!  
Терзая душу, проливали  
В неё томленье слёзы те;  
Кто б не отёр их у печали,  
Кто б не оставил красоте?

Страшись прелестницы опасной,  
Не подходи: обведена  
Волшебным очерком она;  
Кругом её заразы страстной  
Исполнен воздух! Жалок тот,  
Кто в сладкий чад его вступает:

Ладью пловца водоворот  
 Так на погибель увлекает!  
 Беги её: нет сердца в ней!  
 Страшися вкрадчивых речей  
 Одуревающей приманки;  
 Влюблённых взглядов не лови:  
 В ней жар упившейся вакханки,  
 Горячки жар – не жар любви <...>.

Высок и его драматический талант: характеры Арсения, князя, мамушки очерчены ярко и живо; сюжет стремителен; повествование вольно меняет интонацию, всякий раз естественную и правдивую. У каждого лица – своя особенная речь, точно и выразительно рисующая его норы и душу, – и тут хороша *мамушка* – старушка няня, единственная, кому дорога Нина:

<...> «Ты ль это, дитятко моё,  
 Такою позднею порою?..  
 И не смыкаешь очи сном,  
 Горюя Бог знает о чём!  
 Вот так-то ты свой век проводишь,  
 Хоть от ума, да неумно;  
 Ну, право, ты себя уходишь,  
 А ведь грешно, куда грешно!»

<...> Ты позабыла Бога... да,  
 Не ходишь в церковь никогда;  
 Поверь, кто Господа оставит,  
 Того оставит и Господь;  
 А Он-то духом нашим правит,  
 Он охраняет нашу плоть! <...>»

Связующей ткань повести выступает речь самого рассказчика – то важная, то сердечная, то комическая, то насмешливая: поэт владеет всей полнотой и «светотенью» интонации, отчего его образы и картины дышат жизнью...

Таков и неожиданный финал поэмы, иронический и светски-небрежный, но этим самым лишь зримее показывающий разыгравшуюся трагедию:

<...> Богатый гроб несчастной Нины,  
 Священством пышным окружён,  
 Был в землю мирно опущён;  
 Свет не узнал её судьбины.  
 Князь без особого труда  
 Свой жребий вышней воле предал.  
 Поэт, который всегда  
 По четвергам у них обедал,  
 Никак с желудочной тоски  
 Скропал на смерть её стишки.  
 Обильна слухами столица:

Молва какая-то была,  
 Что их законная страница  
 В журнале дамском приняла.

Пушкин прочёл поэму ещё до появления её в книге, по-видимому, получив рукопись от Дельвига. В начале декабря 1828 года Боратынский отвечает Дельвигу на его письмо (оно не сохранилось): «<...> Я получил письмо от Пушкина, в котором он мне говорит несколько слов о моём “Бале”. Ему, как тебе, не нравится речь мамушки. Не защищаю её; но желал бы знать, почему именно она не хороша, ибо, чтобы поправить её, надобно знать, чем грешит она. Ты мне хорошо растолковал комический эффект моей поэмы и утешил меня. Мне бы очень было досадно, ежели б в “Бале” видели одну шутку, но таково должно быть непременно первое впечатление. Сочинения такого рода имеют свойство каламбуров: разница только в том, что в них играют чувствами, а не словами. Кто отгадал настоящее немерение автора, тому и книгу в руки <...>».

Наверное, тогда же Пушкин начал свой разбор поэмы, увы, не законченный впоследствии, но чрезвычайно интересный:

«<...> Последняя поэма Баратынского, напечатанная в Северных Цветах, подтверждает наше мнение. Сие блестящее произведение исполнено оригинальных красок и прелести необыкновенной. Поэт с удивительным искусством соединил в быстром рассказе тон шутливый и страстный, метафизику и поэзию. <...>

Нина исключительно занимает нас. Характер её новый, развит с *amore* < с увлечением >, широко и с удивительным искусством, для него поэт наш создал совершенно своеобразный язык и выразил на нём все оттенки своей метафизики – для неё расточил он всю элегическую негу, всю прелесть своей поэзии.

Напрасно поэт берёт иногда строгий тон порицания, укоризны, напрасно он с принуждённой холодностью говорит о её смерти, сатирически описывает нам её похороны, и шуткою кончает поэму свою – мы чувствуем, что он любит свою бедную, страстную героиню. – Он заставляет и нас принимать болезненное соучастие в судьбе падшего, но ещё очаровательного создания. –

Арсений есть тот самый, кого должна была полюбить бедная Нина. – Он сильно овладел её воображением, и никогда вполне не удовлетворяя ни её страсти, ни любопытству – должен был до конца сохранить над нею роковое своё *влияние* (*ascendant*)».

Уже 15 декабря петербургская «Северная пчела» объявила о выходе «Двух повестей в стихах», вкратце представив поэму «Бал» читателю: «<...> Строгие моралисты могут здесь найти следующий наставительный для нравственности урок: человек, привыкший гоняться за суетностью в вихре большого света, не подкрепляемый ни верою, ни правилами, считает всё своё благо в пустой мечте и в угождении своим прихотям; с потерей обольщающих его призраков он гибнет, не оставляя по себе ни сожаления, ни соучастия. Так вёл и заключил Поэт наш повесть Княгини <...>. – Многие черты местные и современные, описание бала, туалет княгини, похороны ея и пр. списаны верною мастерскою кистью поэта-наблюдателя. Стихосложение свободное и звучное; множество прекрасных западающих в память стихов, движение и живость рассказа и счастливая способность поэта рисовать воображению читателя, часто одним словом, предмет в настоящем и полном его виде. Вот в чём должны согласиться самые строгие критики, прочитав сие новое произведение Баратынского».

Однако «самые строгие критики» оценили совсем другое – и по-своему. Первым делом они, кто косвенно, кто прямо, обрушились на «безнравственность» произведения.

Новый московский журнал «Атеней» напечатал рецензию М. А. Дмитриева, который вообще усомнился, что в такой героине, как княгиня Нина, можно отыскать предмет для поэзии. Критик никак не мог представить, что женщина, «утратившая невозвратно стыд и добродетель», способна влюбиться «всею силою души»: «<...> а ещё менее почтём быточным, чтобы подобная Лаиса отравилась от потери какого-нибудь Арсения, – заключил рецензент. – Таково, однако ж, содержание в стихотворении “Бал” <...>. Без шуток, надобно иметь отличный талант Баратынского, чтоб из подобных невероятностей сделать что-нибудь годное для чтения <...>».

Вскоре на книгу «Две повести в стихах» набросился с каким-то неуёмным остервенением журнал «Вестник Европы» в лице Н. И. Надеждина, ну, и, разумеется, редактора журнала М. Т. Каченовского, давнего недоброжелателя Пушкина и его друзей-поэтов. Критик, пытающийся быть поязвительней, пишет каким-то петлистым слогом бывшего семинариста, который поступил на службу в канцелярию и сделался законченным *крючком*:

«<...> С первого взгляда на сие *chef-d’oeuvre* галантерейной нашей литературы, нельзя не полюбоваться дружеским союзом, заключённым так кстати между *Балом* и *Графом Нулиным* <...>. Вероятно, этот союз происходит от того, что *Граф Нулин*, как человек светский, никак не может обойтись без *Бала* <...>. После того, как самозаконные гении, закусив узду правил, пустились *со всех четырёх ног, на славу, не взвидя света, ни дорог*, смешно и совестно было бы измерять циркулем и подводить под мафематические формулы бурный бег их. Произведения подобных гениев всегда бывают *из рода вон*. И ни один ещё Кювье не составил доселе полной систематической классификации для всех *выродков*, которых произведением иногда бывает угодно забавляться Природе. – Равномерно, мы сделали бы ужасный литературный анахронизм, вздумав искать в разбираемых нами повестях *идеи*, которая составляла бы их эстетическую <эстетическую> душу <...>. Это значило бы искать *порожнего места* <...>. Начнём с “Бала”!.. Да не подумает кто, будто бы в этой повести хотят нам точить балы! Содержание ея есть самое трагическое: и мы, не будучи Мустын-Еддынами, можем предсказать смело, что сия небольшая поемка не уедлит одушевить вдохновением наших Шакспиров и Калдеронов. Ея Сиятельство, Княгиня Нина, покинутая неким Арсением ради некоей Олиньки, отравляется: какой богатый сюжет для антиклассической Мельпомены!.. Хотите ли ознакомиться покороче с характерами лиц, разыгрывающих сию высокопатетическую драму?.. Огненный резец поэта обозначил их яркими чертами. Княгиня Нина есть олицетворённый идеал беспредельной ненасытмости в наслаждениях, прорывающий тесные рамы стыда и добродетели, идеал, до которого не досягали Лаисы и Ниноны <...>. – Рядом с Ниною на пьедестальчике нашей повести стоит некто Арсений, силуэт, коего физиономия теряется во мраке мистической неопределённости. Это – как будто кто-то из фамилии Онегиных <...>. – Поэт поскупился красками для изображения других лиц <...>. – Займёмся же теперь музыкальною стороною “Бала”! Не берёмся отыскивать, в каком тоне поэтической гаммы аранжирована сия поэма: за нею не угоняешься: она переливается фугою по всем тонам, диезам и бемолям. Таково свойство гениальных

произведений. Можно только заметить, что певец “Бала” любит искусственные диссонансы. По праву гениального деспотизма, он дразнит и тиранит угрюмый вкус нарочно (кажется) произведённую дисгармонию».

Заключая рецензию, Надеждин уже оставляет свои канцелярские вычуры, а попросту бранит поэмы Боратынского и Пушкина: «Это суть прыщички на лице вдовствующей нашей литературы! Они и красны, и пухлы, и зрелы». – Очевидно, что для молодого возрастом критика последнее сравнение подсказано самой жизнью...

Не замедлил присоединиться к этому критическому лаю и «Дамский журнал», – рецензию, скорее всего, написал его издатель и редактор князь Шаликов, давний враг Боратынского, – по-видимому, чувствительно задетый последней строфой «Бала», где говорится о некоем авторе, скропавшем стишки на смерть Нины:

«<...> с каким же намерением и для какой цели *вымышлен* характер, самый безнравственный, самый бесстыдный, под именем *Княгини* <...>. И неужели такая прелестница, как Нина, в *первый* раз *позднею* порою возвратилась домой? и, подобно *Наталье, боярской дочери* <героине Карамзина>, позволит разболтаться *мамушке*, вздумавшей читать ей проповедь? Тайна в том, что уже нельзя обойтись без *няни*, когда есть няня у *Тани* <Татьяна Ларина из «Евгения Онегина»>. Но какая разница в правдоподобии! <...> “Поэт, который завсегда / По четвергам у них обедал”, этот поэт гораздо чувствительнее нашего автора, скропавши, без сомнения, с сердечной, а не с *желудочной тоски* “На смерть её (?) стишки”. На смерть, вероятно, не тоски, а Княгини, которая, вероятно, ласкала поэта, следственно, он исполнил долг благодарности <...>, но по какой желудочной причине автор, начавши описывать бал, вдруг забывает о нём и поёт на 40 страницах соблазнительную историю женщины, *каких мало*; которая, не имевши во всю жизнь ни одного морального чувства, предпочитает собственную смерть отмщению сопернице; которая столь неожиданно превращается в новую *Лукрецию*; которая наконец скорее могла бы заставить *поэта* написать стишки на ужасный конец жизни своей, нежели *повесть в стихах* о бесчестном своём существовании? <...>»

Пушкинский отзыв о поэме «Бал» лежал в черновиках, недоступный читателю, – а эти косноязычные рецензии выскочили на публику, как чёрт из табакерки. Эпоха Николая I была строгой и подозрительной – и обвинения того или иного произведения в *безнравственности* больше походили на печатные доносы, нежели на критические замечания, – впрочем, этим и отличались журналы Каченовского и Булгарина.

Мелкотравчатому Шаликову Боратынский не счёл нужным отвечать, а вот Каченовскому вскоре посвятил ядовитую эпиграмму:

Хвала, маститый наш Зоил!  
 Когда-то Дмитриев бесил  
 Тебя счастливыми стихами,  
 Бесил Жуковский вслед за ним,  
 Вот Пушкин бесит. Как любим,  
 Как отличён ты небесами!  
 Три поколения певцов  
 Тебя красой своих венцов

В негодование приводили.  
 Пекись о здравии своём,  
 Чтобы, подобно этим трём,  
 Другие три тебя бесили.

Разумеется, были и другие отзывы о поэме «Бал».

Н. Полевой в «Московском телеграфе», сравнив новую поэму Боратынского с «Эдой», пришёл к выводу, что поэт значительно *шагнул вперёд*. Стихотворение «Последняя смерть» и поэма «Бал» – «<...> суть творения, показывающие талант Боратынского, в полной силе, совершенной оригинальности и зрелости. – Бешенство страстей, которые тревожат от времени до времени стоячие воды тихого и огромного озера, называемого “большим светом”, дало поэту нашему основание его творения, а пестрота подробностей, однообразие главных форм, противоречие светской жизни с природою, дали ему краски блестящие, поразительные. <...> – Характеры, положения лиц, мелкая живопись предметов превосходны. Огонь поэзии освещает тёмную лампу светской жизни и ярко отражает изображения на оной <...>».

Альманах «Галатее» напечатал реплику на рецензию в «Атенее», назвав её *неосновательной, мелочной и пристрастной*. «<...> Большая часть читателей прочитала её с негодованием, другие сердечно пожалели о рецензенте <...>».

Возразил «Атенею» и журнал «Сын Отечества и Северный архив»: «Русские журналы уже сказали своё мнение о сих двух повестях, особливо о первой «Бале». Все они отдали справедливость изобретению и поэтическому достоинству повести г. Боратынского, но “Атений”, кажется, решительно объявил себя противником всего, что написано не в правилах школы аристотелевой и г. Критика Атенийского. Он говорит, что “в женщине, утратившей добродетель и всею силою души влюблённой, едва ли найдётся дело для поэзии”. Мысль совершенно ложная! Не спорим, что есть самозванные поэты, в которых ни добродетели, ни пороки не расшевелият поэзии, но талант истинный, каков талант г. Боратынского, умеет найти и находит поэзию там, где для близоруких его критиков она остаётся невидимкою. <...> Поэма “Бал”, в которой г. Критик Атенийский находит одно только истинно пиитеское место (приход мамушки в спальню Княгини), заключает в себе, по единодушному мнению других критиков, многие свежие красоты поэзии, как в новости положений, так и в способе выражения. Характер Нины есть прекрасное создание поэта. <...> – характеры в небольшой сей поэме начертаны мастерскою кистью, описания живы, подробности занимательны, стихи прелестны и многие из них сами собою остаются в памяти».

Боратынский, конечно же, лучше записных журнальных моралистов знал, что его княгиня Нина отнюдь не образец для поведения жён и барышень на выданье. Недаром он, принося в дар книгу со своим «Балом» семнадцатилетней свояченице Сонечке Энгельгардт, к которой горячо привязался после женитьбы на её сестре, сопроводил посылку изящным стихотворением:

Тебе ль, невинной и спокойной,  
 Я приношу в нескромный дар  
 Рассказ, где страсти недостойной  
 Изображён преступный жар?



И безобразный и мятежный,  
Он не пленит твоей мечты;  
Но что? на память дружбы нежной  
Его, быть может, примешь ты.

Жилец семейственного круга,  
Так в дар приемлет домосед  
От путешественника-друга  
Пустыни дальней дикий цвет.

Придирчивые критики «Бала» напрасно торжествовали, «уличив» поэта в подражании Пушкину. Арсений лишь отдалённо напоминает Онегина, а мамушка вовсе не походит на няню Татьяны Лариной. Боратынский сознательно пошёл на это, *внешнее*, сходство с пушкинскими образами, чтобы отчётливей показать *своё, собственное* – новый характер, который он открыл в литературе образом мятущейся Нины. Критик Л. Андреевская в своей работе «Поэмы Баратынского» точно определила суть этой художнической новизны:

«"Картины светской жизни также входят в область поэзии", – писал Пушкин Рылееву на его упрёк по поводу светской жизни, данной им в *Евгении Онегине*. – И не это было смелой новизной Баратынского. Смелым и новым было то, что на этот раз он вовсе не обходит Пушкина и Байрона, а идёт откровенно на то и другое, не обходя, а преодолевая... Демоническим он делает не героя, а героиню <...>.

В критике было обращено особое внимание на создание этого образа. Даже придирчивый Белинский и тот им остался доволен. Ещё находились под живым впечатлением *Дон-Жуана* Байрона, а Баратынский не побоялся переключить его:

На грудь роскошную она  
Звала счастливица молодого;  
Он пересоздан был на миг  
Её живым воображеньем;  
Ей своенравный зрелся лик,  
Она ласкала с упоеньем  
Одно видение своё –  
И гасла вдруг мечта её...».

Эда была жертвой смиренной любви – Нина стала жертвой любви страстной. Эти два женских типа больше всего занимали воображение Боратынского – и поэта и человека.

«Эда», несомненно, продолжилась «Балом»: одна героиня вступила в заочный разговор с другой. Поэту надобно было созерцать свою воображаемую картину вполне...

Что касается *мамушки*, то первым догадался о замысле Боратынского П. Плетнёв: «Кто из любителей русской поэзии не помнит наизусть разговоры Татьяны Пушкина с её няней? Это верх грации и простоты. И что же? Баратынский не усомнился в своей поэме "Бал" обработать подобную сцену. В ней и тени нет подражания...»

Л. Андреевская замечает по этому поводу: «Нет подражания, потому что вся сцена перенесена в иную плоскость, потому что именно этой сценой и завершается драма героини. Баратынскому нужно было подвести к эффекту самоубийства,

обставив его психологически, а не бутафорски. Молитва няни и её шопотливый разговор с княгиней тем и разительны, что княгиня уже ничего не слышит и ни на что не отзывается:

“...Ты знаешь, мало ли о чём  
Мелю я старым языком;  
Прости, дай руку мне”. Вздыхая  
К руке княгининой она  
Устами ветхими прильнула –  
Рука ледяно холодна...».

Дидактика, приписанная поэме «Северной пчелой», также нисколько не занимает Боратынского: его как художника волнует лишь одно, вполне ли нарисован образ княгини Нины.

Реальная *Аграфена Фёдоровна Закревская*, «беззаконная комета в кругу расчисленном светил», дожила до глубокой старости, пережив и Пушкина (который некогда молил её: «<...> Но прекрати свои рассказы, / Таи, таи свои мечты: / Боюсь их пламенной заразы, / Боюсь узнать, что знала ты»), и Боратынского, – *княгиня же Нина* умерла молодой.

Судьба Закревской – правда жизни; судьба Нины – правда искусства.

### Притча о переселении душ

Поэму-сказку «Переселение душ» Евгений Боратынский сочинил в 1828 году. Видно, подустал от «Бала», от бесконечной доработки и отделки поэмы – и решил создать нечто лёгкое, игривое, воздушное, словом, причудливую шутку воображения, где бы важная мысль была запрятана, как драгоценный камень в изукрашенный ларец.

Осенью этого года князь П. А. Вяземский сообщил А. И. Тургеневу в Париж, что скоро в альманахе «Северные цветы» появится «прекрасно рассказанная сказка Боратынского». По тону письма видно, что Вяземский – в самом добром расположении духа: он хвалит Боратынского за чувства и за ум, тонкий, глубокий и самобытный, – и тут же, словно бы в доказательство, приводит их недавний разговор о московском митрополите Филарете, к которому Боратынского «возит его тесть Энгельгардт»: «Он говорит, что ему Филарет и вообще наши монахи сановные напоминают всегда что-то женское: ряса как юпка и в обращении какое-то кокетство, игра затверженной роли, и прочее. Мне кажется это замечание удивительно верно <...>».

По сути, поэма «Переселение душ» – сказочная притча, и, как всякая притча, она поучительна.

Шутливая преамбула ненароком предупреждает, как не просто стало в размножившейся *семье людской* найти себе достойную пару:

<...> Куда пойду? Мечтаешь с горем,  
На хладный север, знойный юг?  
За Белым иль за Чёрным морем  
Блуждаешь ты, желанный друг?

Не всё. Задача есть другая.  
 Шатаясь по свету, порой  
 Столкнёшься с родственной душой  
 И рад; но вот беда какая:  
 Душа родная – нос чужой  
 И посторонний подбородок!.. <...>

Гоголевской «Женитьбы» ещё нет и в помине, а комическая завязка его пьесы *вся налицо* в двух последних стихах...

Однако продолжим вступление:

Враждуют чувства меж собой;  
 Признаться, способ мировой  
 Находкой был бы из находок!  
 Но он потерян между нас,  
 О нём живёт один рассказ. <...>

Этот *способ* – отыскать родную душу, которая дороже всего на свете.

Египетская краса-царевна Зораида отвергла всех женихов и все блага земные – и поменялась душой с простой пастушкой, в которую влюблён молодой певец, лишь бы только быть с ним рядом, *жить душа в душу*, – а его, родную себе душу она сразу же угадала, когда он во дворце запел о любви. С пастушкой Ниэтой, «дурочкой степной», царевне было нетрудно договориться, – и вот её душа вошла в пастушку и навсегда покинула дворец, а душа пастушки оказалась в теле царевны, оставшейся в роскошных покоях. И чудесное преображение: от прекрасной Зораиды «осталась тень одна», а лицо пастушки молодой заблестало вдруг «дивной красотой»:

С главой поникшею Ниэта,  
 С невольным пламенем лица  
 Тихонько вышла из дворца,  
 И о судьбе её до света  
 Не доходил уж слух потом.  
 Так что ж? О счастья прямом  
 Поведать людям неудобно;  
 Мы знаем, свойственно ему  
 Любить хранительную тьму,  
 И драгоценное подобно  
 В том драгоценному всему.  
 Где искромётные рубины,  
 Где перлы светлые нашли?  
 В глубоких пропастях земли,  
 На тёмном дне морской пучины.

А что с царевною моей?  
 Она с плотнейшим из князей  
 Великолепно обвенчалась.  
 Он с нею ладно жил, хотя

В иное время не шутя  
Его супруга завиралась,  
И даже под сердитый час  
Она, возвыся бойкий глас,  
Совсем ругательски ругалась.  
Он не роптал на то ничуть,  
Любил житьё-бытьё простое  
И сам, где надо завернуть,  
Не забывал словцо лихое.  
По-своему до поздних дней  
Душою в душу жил он с ней. <...>

И там и тут нашедшие себя пары прожили – *душа в душу*...

Сказка на этом заканчивается, а *притчу* заключает лирический монолог автора, обращённый к той, в ком он обрёл родственную ему душу:

Что я прибавлю, друг мой нежный?  
Жизнь непогодю мятежной,  
Ты знаешь, встретила меня;  
За бедством бедство подымалось;  
Век над главой моей, казалось,  
Не взыдет радостного дня.  
Порой смирял я песнопеньем  
Порыв болезненных страстей,  
Но мне тяжёлым вдохновеньем  
Была печаль души моей.  
Явилась ты, мой друг бесценный,  
И прояснилась жизнь моя:  
Весёлой музой вдохновенный,  
Весёлый вздор болтаю я.  
Прими мой труд непринужденный!  
Счастливым светом озаренный  
Души, свободной от забот,  
Он – твой достаток справедливый,  
Он первый плод мечты игривой,  
Он новой жизни первый плод.

«Переселение душ», действительно, быть может, самое *непринужденное* сочинение Боратынского – простое и светлое, написанное словно бы на одном дыхании.

Эта сказка-притча – по излучению счастливого внутреннего света, – наверное, и есть то самое чаемое Боратынским *завенье мысли*, которое вдруг подарила ему на миг судьба. Впрочем, в творчестве поэта это произведение не стало, да и не могло стать заметным явлением...

Альманах «Галатей» отметил сказку как «одно из примечательнейших стихотворений» в «Северных цветах» *на 1828 год*: «<...> Достоинство его заключается не столько в содержании, сколько в пленительной поэтической форме рассказа, которая, впрочем, есть отличительное, главное преимущество сказки. Описание

пирамид и великолепия пира свадебного прекрасно; но самое описание превращения нам не совсем показалось ясно. Заметили мы также два, три стиха, противоречащих благородному, хотя шутивому тону рассказа <...>».

### Отстаивая самобытность

Так, *душа в душу*, и жил Евгений Боратынский со своей молодой женой Настенькой. Суете света и развлечению души от её верных дум он предпочёл *хранительную тьму* семейного очага: по зимам и полусезонью московский дом, а летом – подмосковную усадьбу Мураново, светло-зелёную, покойную, уютную, где плавные всхолмия отражались в тихих водах пруда, где цвела сирень, и благоухали старые липы, и пахло разогретой на солнце сосновой смолой.

*Счастливым свет* души, свободной от забот!..

Достоверных бытовых сведений об этой поре жизни Боратынского очень мало, как мало было и событий. Маменька с сёстрами жили далеко, в тамбовской Маре; братья служили в столице. Письмами почти не обменивались, да и особенно не о чём было писать. Старинные друзья, те бывали в Москве время от времени, и тогда всё празднично оживало...

В начале 1828 года в Москву по пути в Харьков заехал Антон Дельвиг с женой Софьей Михайловной. Боратынский и Вяземский взяли знакомить его с писателями.

Видно, пирушка была славной, коль скоро Дельвиг потом *доносил Его поэтическому превосходительству* Пушкину, как в первопрестольном граде почтенные братья князь Пётр и Евгений представили его *низшей братии московской*: «<...> Видел я поющих, вопиющих, взывающих и глаголющих. Шевырёв пел, вопиал, взывал, но не глаголил; гнев противу “Северной пчелы” носил его на крыльях ветра, но не касался до земли, разве изредка носками сапожными. Раич благоухал анисовою водкою и походил на отпущенника или на домового пииту. Хвалился милостию вашею и проч. Благослови, святой Александр, брата младшего твоего <...>».

По-видимому, был Боратынский и на дружеском ужине, который вскоре дал Соболевский в честь Дельвига и где собрались Погодин, Полевой, Мицкевич и другие литераторы.

Лето Боратынские провели в поместье Мураново; к обычным домашним хлопотам добавились новые, связанные с появлением на свет второй дочки Катеньки.

А осенью в Москве снова появился Дельвиг, возвращающийся в Петербург. Друзья собрались своим кругом у Николая Полевого за обсуждением «текущей словесности», о чём позже князь Вяземский весело сообщал Пушкину: «<...> Тут был цензор Глинка, который уморителен и стоит Снегирёва, отказывается от Минина, Пожарского и Гермогена и говорит: “Чёрт знает, за что наклепали на меня какую-то любовь к отечеству: чёрт бы её взял!” и тому подобное. Он нас смешил чрезвычайно <...>». – Шампанское и николаевская патриотическая риторика одолела даже и цензуру!..

Пуще того веселились на дне рождения Зинаиды Волконской – «в понедельник 3-го декабря 1828 года»: Вяземский, Боратынский, Шевырёв, Павлов и Киреевский сочинили вместе *куплеты*, где каждая строфа непременно оканчивалась упоминанием о дате появления княгини на свет Божий:

<...> Вокруг эфирной колыбели,  
 Где гость таинственный лежал,  
 Невидимые хоры пели,  
 Незримый дым благоухал.  
 Зимой весеннее светило  
 Взошло, безоблачно горя.  
 Когда же чудо это было?  
 То было третье декабря. <...>

Звездой полуденной и знойной,  
 Слетевшей с Тассовых небес,  
 Даны ей звуки песни стройной,  
 Дар гармонических чудес;  
 Явленье это не входило  
 В неверный план календаря,  
 Но знаем мы, что это было  
 Оно на третье декабря. <...>

Такая власть в её владенье,  
 Какая Богу не дана:  
 Нам сотворила воскресенье  
 Из понедельника она  
 И в праздник будни обратило  
 Веселье, круг наш озаря;  
 Да будет вечно так, как было,  
 Днём чуда третье декабря!

А днями позже в Москву приехал Александр Пушкин – и Боратынский, конечно, чуть ли не каждый день видится с ним. Однажды, перед отъездом Пушкина в Старицу, они собрались на завтрак, и Пушкин черкнул записку Вяземскому: «Баратынский у меня – я еду часа через 3. Обедать не дожидусь, а будет у нас завтрак в роде en petit courage <игра слов: в виде поощрения и – немного навеселе>. Постараемся напиться не en grand cordonnier, как сапожники – а так, чтоб быть en petit courage, под куражём. Приезжай, мой ангел».

В январе 1829 года Вяземский писал к Пушкину: «<...> А мы, то есть я и Баратынский, танцовали в Москве с Олениною, и кажется, у них были элегические выходы <...>». Стало быть, в свет Боратынский изредка, но выезжал...

В марте Пушкин вновь приехал в Москву и пробыл там до мая. Вяземского с ними не было, тот находился в Петербурге. Боратынский писал к нему в начале апреля: «<...> Вы не можете себе представить, как Москва для меня без вас опустела! При вас я видался со многими людьми, с которыми теперь не вижу, потому что уже не надеюсь встретить вас между ними. Вы были лентою, которая связывала пук, а без вас он распался. Пушкин здесь, и я ему отдал ваш поклон. Он дожидается весны, чтобы ехать в Грузию. Я с ним часто вижу, но вы нам очень недостаёте. Как-то из нас двух ничего не выходит, как из двух математических линий. Необходима третья, чтобы составить какую-то фигуру, и вы были ею <...>».



Тогда же Пушкин и Боратынский посетили концерт виолончелиста Бернара Ромбера в Благородном собрании. Многочисленная публика с жадным любопытством разглядывала двух поэтов; толпа расступалась перед ними...

В начале мая друзья расстались: Пушкин уехал в Грузию, а Боратынский, дав прощальный обед у Яра приятелям, отправился с семьёй в Мураново.

Но всё это, хоть и не слишком примечательные, – вехи *внешней* жизни.

*Внутри же* идёт у Боратынского совсем другая жизнь, незримая и постоянная: работа творческого духа, понять которую, если и возможно, то лишь по новым, появляющимся порой стихам да по откровенным строчкам в письмах...

Поэма «Бал», начатая несколько лет назад, когда его сердцем ещё полновластно владела *жрица давняя любви*, в жажде наслаждений удержу никакого не ведающая, была окончена. Поэма эта наконец *разрешила* обаяние его прежней холостяцкой жизни, и он стал свободен для жизни иной, семейной. С высоты преодоления вольной молодости, в крепости обновления духа, Боратынский видел себя уже *стариком* – и с некою печалью в шутовском тоне оглядывал прошлое:

Венчали розы, розы Леля,  
 Мой первый век, мой век молодой:  
 Я был счастливый пустомеля  
 И девам нравился порой.  
 Я помню ласки их живые,  
 Лобзанья, полные огня...  
 Но пролетели дня молодые,  
 Они не смотрят на меня!  
 Как быть? У яркого камина,  
 В укромной хижине моей,  
 Накрою стол, поставлю вина  
 И соберу моих друзей.  
 Пускай венок, сплетённый Лелем,  
 Не обновится никогда:  
 Года, увенчанные хмелем,  
 Ещё прекрасные года.

Это написано, по-видимому, осенью 1828 года...

Можно согласиться с Л. Андреевской и посчитать вместе с ней, что в поэме «Бал» Боратынский с непринуждённостью *преодоле*л Пушкина с Байроном, взяв у них то, что ему годилось, и преобразовав это в совершенно иное – по духу в *своё, собственное*. Однако, если вспомнить, что *мамушка* была у всякой светской барышни, а *демонический характер* выдумал отнюдь не Байрон, а создала как модное явление тогдашняя эпоха, то ясно представляешь, что всё это вполне можно было позаимствовать у самой жизни.

Боратынский, разумеется, прекрасно понимал, что читатель скоропалительный в первую очередь увидит то, что лежит на поверхности и без раздумия припишет ему подражание. Но не это по-настоящему заботило его, когда он *преодолевал* Пушкина с Байроном в эпическом жанре. Самобытность поэта,

неповторимое своеобразие в творчестве – вот что занимало поэта всерьёз, когда он почувствовал, что его *первый век, век молодой* безвозвратно отжит. Недаром именно этой теме он посвятил, в переходное для себя время, сразу несколько стихотворений.

Не подражай: своеобразен гений  
И собственным величием велик;  
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,  
Досаден ты: не любят повторений.  
С Израилем певцу один закон:  
Да не творит себе кумира он!  
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,  
Я застаю у Байроновых ног,  
Я думаю: поклонник униженный!  
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

Стихотворение вроде бы обращено к Адаму Мицкевичу, у которого в начале 1828 года вышла весьма байроническая поэма «Конрад Валленрод», – но, конечно же, касается каждого поэта. Одновременно это и остережение самого себя от чрезмерного увлечения *кумирами*, призыв к трезвой самокритичности, к взыскательнейшей точности самовыражения.

По мысли Боратынского, только самобытность в искусстве достойна памяти последующих поколений, а может быть, и вечности. С достоинством и простотой – нагой мыслью и обычным слогом – это высказано в другом тогдашнем стихотворении:

Мой дар убог, и голос мой не громок,  
Но я живу, и на земли моё  
Кому-нибудь любезно бытиё:  
Его найдёт далёкий мой потомок  
В моих стихах. Как знать? Душа моя  
Окажется с душой его в сношенье,  
И, как нашёл я друга в поколенье,  
Читателя найду в потомстве я.  
(1828)

В этом восьмистишии одно лишь слово выдаёт глубокую важность признания:

<...> на земли моё <...>.

Старинный церковно-славянский оборот, словно удар в могучий древний колокол, заставляет по-иному звучать стихи: они будто бы наполняются гулом времён. Будничная речь вдруг обнаруживает в себе скрытое торжественное волнение – и звучит уже как заветная клятва об утверждении себя в вечности.

Чуть позже, в 1829 году, Боратынский вновь возвращается к этой теме – и выражает её в точной поэтической формуле, слегка прикрыв чеканный очерк определения тончайшей накидкой провидческой иронии:

Не ослеплён я музою моею:  
 Красавицей её не назовут,  
 И юноши, узрев её, за нею  
 Влюблённою толпой не побегут.  
 Приманивать изысканным узором,  
 Игрою глаз, блестящим разговором  
 Ни склонности у ней, ни дара нет;  
 Но поражён бывает мельком свет  
 Её лица необщим выраженьем,  
 Её речей спокойной простотой;  
 И он скорей, чем едким осуждением,  
 Её почитит небрежной похвалой.

И, наконец, своё высшее воплощение в его лирике эта тема нашла в стихотворении «Подражателям» (первоначальное название), написанном, как установили исследователи, до 20-х чисел ноября 1829 года, а затем доработанном в 1832-1833 годах. Тут уже поэт не говорит – *глаголет*: стих пылает огнём и пышет гневом той силы, которой отличалась речь древних пророков:

Когда, печалью вдохновенный,  
 Певец печаль свою поёт,  
 Скажите: отзыв умиленный  
 В каком он сердце не найдёт?  
 Кто, вековых проклятий жаден,  
 Дерзнёт осмеивать её?  
 Но для притворства всякий хладен,  
 Плач подражательный досаден,  
 Смешно жеманное вытьё!  
 Не напряжённого мечтанья  
 Огнём услужливым согрет,  
 Постигнул таинства страданья  
 Душесмутительный поэт.  
 В борьбе с тяжёлою судьбою  
 Познал он меру вышних сил,  
 Сердечных судорог ценою  
 Он выраженье их купил.  
 И вот нетленными лучами  
 Лик песнопевца окружён  
 И чтим земными племенами,  
 Подобно мученику, он.  
 А ваша муза площадная,  
 Тоской заёмною мечтая  
 Родить участие в сердцах,  
 Подобна нищей развращённой,  
 Молящей лепты незаконной  
 С чужим ребёнком на руках.

Это была пора его поэтического возмужания.

Вся мишура словес пала пред *речей спокойной простотой*; пестрота личин – следов былых увлечённостей *кумирами* – уступила законное место *лица не-общему выраженью*.

Что надменный ум пред мудростью народа?..

Что молодое море литературы пред могучим океаном фольклора?..

Старательно мы наблюдаем свет,  
 Старательно людей мы наблюдаем  
 И чудеса постигнуть уповаем:  
 Какой же плод науки долгих лет?  
 Что наконец подсмотрят очи зорки?  
 Что наконец поймёт надменный ум  
 На высоте всех опытов и дум,  
 Что? точный смысл народной поговорки.

В одном из автографов последняя строка написана Боратынским несколько иначе:

<...> Что? *старый* смысл народной поговорки.

Народу всё уже было известно – и давно...

Душе песнопевца потребно высокое уединенье, чтобы понять себя, уловить в тонких промельках нахлынувших видимостей, в ещё несуществующих возможностях тот единственный образ, который воплотится в слове.

Об этом – и тоже в эти же годы и в том же возрасте – писал Пушкин в знаменитом стихотворении «Поэт»:

<...> Но лишь божественный глагол  
 До слуха чуткого коснётся,  
 Душа поэта встрепенётся,  
 Как пробудившийся орёл.  
 Тоскует он в забавах мира,  
 Людской чуждается молвы,  
 К ногам народного кумира  
 Не клонит гордой головы;  
 Бежит он, дикий и суровый,  
 И звуков и смятенья полн,  
 На берега пустынных волн,  
 В широкошумные дубровы...

У Пушкина – пророческий пламень!..

Пушкин – ещё одинок, и в поисках *подруги*...

Боратынский – подругу нашёл, и счастлив с нею. Может быть, поэтому у Боратынского это состояние души, предшествующее творчеству, выражено совершенно иначе – *эскизно*: с мягкой мечтательностью и лёгкой грустью:

Чудный град порой сольётся  
 Из летучих облаков,  
 Но, лишь ветер его коснётся,  
 Он исчезнет без следов.  
 Так мгновенные созданья  
 Поэтической мечты  
 Исчезают от дыханья  
 Посторонней суеты.  
 (1829)

Оба поэта изнутри горели одним огнём – вечным желанием выразить невыразимое, воплотить невоплощённое...

### Глава восемнадцатая МЕЖДУ МОСКВОЙ И ТАМБОВОМ

#### По вдохновению сердца

С московскими *любомудрами* Евгений Боратынский познакомился в 1826 году. Отношения как-то сразу не заладились из-за различных взглядов на мир и общество, да и на творчество. Лишь В. Ф. Одоевский и И. В. Киреевский сочувственно отнеслись к стихам Боратынского, другие отзывались о них с иронией и холодком и сторонились поэта. Характерные записи оставил в своём дневнике М. П. Погодин; судя по ним, он «затруднялся» говорить с Боратынским: «<...> не лежит к нему сердце». Впоследствии Погодин признался и в другом – что он опасался даже показываться рядом с Пушкиным и Боратынским, людьми *подозрительными для правительства*. В свою очередь Боратынский скептически оценивал довольно многое из сочинений любомудров; так, о трагедии Погодина «Марфа Посадница» он сказал, что теоретические познания ещё никак не заменяют таланта.

Всё же с одним из любомудров поэт позже по-дружески сошёлся. Это был Иван Васильевич Киреевский. «<...> В силу своего необыкновенно логического, твёрдого ума Киреевский был родствен по духу Баратынскому <...>», – заметил по этому поводу биограф поэта Гейр Хетсо.

Иван Киреевский был шестью годами моложе Боратынского. Он происходил из старинного дворянского рода Калужской губернии, вырос в честной, умной, богобоязненной семье, уважающей, впрочем, и светские знания. Отец, Василий Иванович, владел пятью языками, был широко образован – и терпеть не мог кощунства: скупал сочинения Вольтера и предавал огню. Он отличался исключительной добротой, его крепостные жили в любви и достатке, а провинности искупали – земными поклонами. Однажды продавали соседнюю деревню другому барину: мужики кинулись в ноги Василию Ивановичу с просьбой купить их. Но денег у него не хватало, и тогда крестьяне собрали свои сбережения, лишь бы только у них был «добрый барин». В Отечественную войну 1812 года Василий Иванович создал на свои средства лечебницу для раненых пленных французов, пытался обратить их в истинную веру, но заразился тифом и умер. Мать, Авдотья Петровна, племянница Жуковского, оставшись молодой вдовой с тремя детьми,

вышла замуж за Алексея Андреевича Елагина, бывшего боевого офицера, человека просвещённого и хорошо знакомого с немецкой философией. В Москве Авдотья Петровна стала хозяйкой одного из самых блестящих литературных салонов, что принимал гостей в её доме у Красных ворот.

Иван Киреевский сызмалу отличался необыкновенной даровитостью, к десяти годам был хорошо начитан в русской и французской литературе. В двенадцать лет он в совершенстве овладел немецким языком, после изучил греческий и латинский. Отчим беседовал с ним о немецкой философии; в Московском университете Киреевский слушал лекции профессора М. Г. Павлова, ученика Шеллинга.

Киреевский унаследовал лучшие качества своих родителей; впоследствии его друг и единомышленник Алексей Хомяков дал ему самую исчерпывающую и замечательную характеристику: «<...> Сердце, исполненное нежности и любви, ум, обогащённый всем просвещением современной нам эпохи; прозрачная чистота кроткой и беззлобной души; какая-то особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору; горячее стремление к истине, необычайная тонкость диалектики в споре, сопряжённая с самою добросовестною уступчивостью, когда противник был прав, и с какою-то нежною пощадою, когда слабость противника была явною; тихая весёлость, всегда готовая на безобидную шутку, врождённое отвращение от всего грубого и оскорбительного в жизни, <в> выражении мысли или в отношениях к другим людям; верность и преданность в дружбе, готовность всегда прощать врагам и мириться с ними искренно; глубокая ненависть к пороку и крайнее снисхождение в суде о порочных людях; наконец, безукоризненное благородство, не только не допускавшее ни пятна, ни подозрения на себя, но искренно страдавшее от всякого неблагородства, замеченного в других людях, – таковы были редкие и не оценённые качества, по которым Иван Васильевич Киреевский был любезен всем, сколько-нибудь знавшим его, и бесконечно дорог своим друзьям <...>».

Однако прошло два года, прежде чем Боратынский и Киреевский сблизились по-настоящему. В конце января 1829 года И. Киреевский писал к С. Соболевскому: «<...> С Барат<ынским> мы сошлись до *ты*. Чем больше его знаешь, тем больше он выигрывает <...>». Это высказывание чуть ли не дословно повторяет мнение Вяземского о поэте, высказанное месяцем раньше в письме к А. И. Тургеневу. Очевидно, даже родственным по духу людям ум, сердце и характер Боратынского открывался не сразу, не вдруг, а постепенно. Поэт явно не держал душу нараспашку и, разумеется, никак не выставлялся лучшими своими качествами. Вряд ли он изучал, *что* за люди его новые знакомые, но, по-видимому, сближаться с тем или иным человеком не торопился. Скорее, всё происходило своим чередом, само собою: по естественному ходу событий, *как Бог на душу положит*. А со стороны такая сдержанность – вполне могла показаться равнодушием или же холодностью...

Характерным примером сказанного может послужить небольшая история с любомудром Н. М. Рожалиным.

Весной 1829 года Рожалин писал из Дрездена в Москву к А. А. Елагину: «<...> у вас теперь Пушкин, Баратынский и Вяземский <...>. Вы пишете, что они все любят и меня, особенно Баратынский. Позвольте вам отвечать на это одно, что я очень знаю, как они меня любят, особенно Баратынский. Знаю, что ежели он иногда поминает обо мне, то из лести вам, и потому не оскорбитесь, ежели я про-



шу вас никогда не поминать обо мне при нём; я имею на это причины и, будучи совершенно доволен одной вашею дружбою, не хочу, чтобы она отзывалась в таких людях, как Баратынский».

Но уже через полгода обиженный непонятно на что любомудр в корне изменил своё мнение, причём даже не выезжая из Дрездена. Он обратился с письмом к А. П. Елагиной, где, в частности, заметил: «<...> Вы полюбили Баратынского? Это значит, что он стоит любви и что я худо знал его. Часто я сужу о людях слишком поспешно; особенно бываю опрометчив в своих антипатиях. Так случилось и на счёт Баратынского <...>».

Сам поэт, возможно, и не знал про всё это...

Так или иначе Москва всё теснее сводила его с молодыми писателями и мыслителями из «Общества любомудров». Дельви́г был далеко и приезжал в первопрестольную редко; Пушкин бывал тут короткими наездами; Вяземский подолгу жил в Петербурге; – с кем ещё мог Боратынский приятельствовать и вести беседы в Москве, как не с любомудрами?..

Киреевскому поэт *предался* «с полною дружбой», как сам выразился в письме к его матери, А. П. Елагиной. Это особенно заметно по одному из писем к молодому философу (осень 1829 года): «<...> я рад, что нахожу тебя таким, каков ты есть, рад, что моё чутьё меня в тебе не обмануло, рад ещё одному – что ты, с твоею чувствительностью пылкою и разнообразною, полюбил меня, а не другого. Я нахожу довольно теплоты в моём сердце, чтоб никогда не охладить твоего, чтобы делить все мечты и отвечать душевным словом на душевное слово. Береги в себе этот огонь душевный, эту способность привязанности, чистый, богатый источник всего прекрасного, всякой поэзии и самого глубокомыслия. Люди, которых охуждает суетный опыт, показывают не пронизательность, а сердечное бессилие. Выньешь сердце своё свежим из опытов жизни, не позволить ему смутиться ими, вот, на что мы должны обратить все наши нравственные способности. <...>»

Последнее пожелание, похоже, относится и к самому себе, не меньше, чем к молодому другу. Боратынский, кажется, предчувствует те *сумерки*, что вскоре начнут всё неумолимей окутывать его душу. Дружба видится ему одним из последних убежищ от суетного мира:

«Прекрасное положительнее полезного, оно принадлежит нам в большей собственности, оно проникает всё существо наше, между тем как остальное едва нами осязается. Я пишу эти строки с истинным восторгом, знаю, что твоё сердце не имеет нужды в подобных поощрениях, но мне, в мои теперешние лета, испытав, по некоторым обстоятельствам более другого, размышляя не менее других, мне сладко с глубоким убеждением принести это свидетельство в пользу первых чистых вдохновений сердца, простительных, годных, по мнению эгоизма, только в одну пору, а по мне – священных, драгоценных во всякое время. – Я заболтался, душа моя, но от доброго сердца. Желание моё состоит в том, чтобы ты воротился из дальних странствий каким поехал и обнял бы меня с старинною горячностью <...>».

Уезжая весной 1829 года с семьёй в Мураново, он дал своим молодым собеседникам (И. Киреевскому, А. Веневитинову, М. Погодину) «блистательный обед у Яра» (как сообщил Погодин Шевырёву в Рим).

А Дельви́гу, в то же время, написал в письме про то, что тяжко занемогла его младшая дочь Катенька. Дельви́г отвечал из Петербурга: «Милый друг, посылаю тебе шинель непромокаемую для твоего тестя и желаю, чтобы письмо моё нашло

тебя спокойнее, чтобы дети твои были здоровы. Ужели ты не знаешь, что болезнь очень частый гость у малюток? Надобно только заботиться о них, но не упадать душою. Вырастут, об нас будут заботиться. Зато как мы подгуляем, выдавая твоих дочек замуж. Я чувствую нынешний день себя лучше. Если бы не бессоница, то уже давно бы прыгал. Ты пишешь, буду ли я издавать “С<еверные> цветы”? Буду и прошу не оставлять их. Твой же запас желал бы прочесть поскорее. Ужели ты думаешь, что твои стихи мне только надобны для альманаха? Мне нужно для души почитать их, она, бедная, голодна и сидит на журнальных сухариках. Сжался. Я тоже пишу кой-что и надеюсь прислать к тебе, что сделаю, да мне писать трудно. Если тесть мой в Москве, так не говори, что я болен, он, бедный, сам нездоров и беспокоится об нас во вред здоровью. Скажи, что я потому не еду, что ищу и ещё не получил места в Москве, что также правда. <...>»

Грустное письмо! Дельвиг хворал, и сильно. Кто знал тогда, что ему, тридцатилетнему, оставалось уже немного...

Были трудности с альманахом: Полевой, Булгарин и Погодин – отвернулись, обиженные тем, что *аристократы* на них «смотрят сверху». Поддержал Дельвига только Киреевский...

По мнению Г. Хетсо, сближение с Иваном Киреевским наконец позволило Боратынскому найти своё место в новой литературной среде. «<...> Не то, чтобы поэт чувствовал себя там духовно свободным. Отношения его со многими московскими писателями были двойственны и даже проблематичны. Но, сблизившись с Киреевским, Боратынский хорошо усвоил идеалистическую философию любомудров, и она наложила определённый отпечаток на его творчество. Несомненно, что перемена, которая в конце 1820-х годов становится заметной в поэзии Боратынского, во многом объясняется влиянием на него Киреевского».

В этом утверждении, которое биограф в дальнейшем всячески развивает, всё же есть нечто сомнительное. Тут кроется некое недоверие к самостоятельности мышления поэта, к его мировоззренческой зрелости. И сам собой возникает вопрос, примерно такой же, как в известной загадке: что же появилось раньше – яйцо или курица...

Так что же изначально: мысль или чувство? философия или поэзия?

Разумеется, беседы с Киреевским *повлияли* на Боратынского, как, наверное, и беседы с поэтом *повлияли* на философа. Кто на кого влиял сильнее, вопрос тёмный, мало поддающийся разрешению.

Вообще, так ли нуждается поэт в идейном учителе, как это кажется со стороны? Знания *теории*, как с усмешкой говорил сам Боратынский о Погодине, отнюдь не заменяют природного дара. Да и трудно представить себе умного и самостоятельного Боратынского в роли примерного ученика, усваивающего уроки «идеалистической философии». Вряд ли такое неравенство породило бы сердечную дружбу между поэтом и молодым философом...

В записной книжке одного из виднейших любомудров, Владимира Фёдоровича Одоевского, есть интересная мысль о поэзии и философии, причём записана она как раз в то время, когда Боратынский тесно подружился с Киреевским, – в мае 1830 года:

«Что наиболее меня убеждает в вечности моей души – это её общность. На поверхности человека является его индивидуальный характер, но чем дальше вы проникаете во глубь души, тем более уверяетесь, что в ней, как идеи, существуют вместе все добродетели, все пороки, все страсти, все отвращения, что там ни один из сих элементов не первенствует, но находится в таком же равновесии, как в при-

роде, так же каждый имеет свою самобытность, как в поэзии. Оттого наука поэта не книги, не люди, но самобытная душа его; кто в душе своей не отыщет отголоска какой-либо добродетели, какой-либо страсти, тот никогда не будет поэтом или – другими словами – никогда не достигнет до глубины души своей. Оттого поэт и философ одно и то же. Они развиты лишь по индивидуальным характеристикам лица, один стремится извергнуть свою душу, вывести сокровища из их таинственного святилища, философ же боится открыть их взорам простолюдинов и созерцает свои таинства внутри святилища. В религии соединяется и то и другое. Религия выносит на свет некоторые из своих таинств и завесой накрывает другие. Оттого в каждом религиозном человеке вы находите нечто почти что философическое, которое, однако же, не есть ни поэзия, ни философия; в древние времена она была их матерью, в средние они как бы заплатили ей долг свой, поддерживая её, в новейшие постарались заменить её, в будущем они снова сольются с ней. <...>

(Поэт – пророк. В минуту вдохновения он постигает сигнатуру периода того времени, в котором живёт он, и показывает цель, к которой должно стремиться человечество, дабы быть на естественном пути, а не на противоестественном <...>).

И, наконец:

«Кто же больше имеет значения – поэт или философ? Сей вопрос существовать не может! Поэт не столько проникает в глубину души, ибо он гость времени, которое философ употребляет на большее погружение в самого себя, он проводит обмен сокровища души в образы, но зато он всё же что-либо, но выносит на свет; истинный философ не унижается до сего, если он и берёт в руки перо, то есть становится на минуту поэтом, то ждёт образов наиболее близких к чистым идеалам души, следственно, неприступных для толпы. В будущей религиозной эпохе человечества оба сольются воедино, но мы того так же постигнуть не можем, как наши праотцы не могли постигнуть, что из религии разовьётся поэзия, что в звуках кроме мелодии есть гармония или, лучше, что мелодия в чреве своём носила гармонию».

Вот, пожалуй, лучший, современный Боратынскому и Киреевскому, ответ на вопрос: кто на кого и как повлиял...

### **В заботах семейных и литературных**

Не успели толком расположиться в мурановском доме, как тяжко занемогла годовалая Катенька. Боратынский повёз дочку в Москву; Настасья Львовна осталась дома: она была на сносях, а дорога дальняя, да и в тряской коляске... Впервые после женитьбы они разлучались. Добравшись до Москвы, Боратынский – так же впервые – писал к жене:

«Я приехал цел и невредим, мой милый друг. Катинька теперь спит, но говорят, что ей лучше, кашляет она меньше и становится веселее. Не могу судить о том сам, ибо пишу к тебе тотчас по приезде. На сердце у меня тяжело, потому что мы разделены: это испытание разлукой – истинное наказание. Я чувствую себя совершенно потерянным. Увидел в нашей спальне твою шляпку и несколько платьев, и у меня так тоскливо сжалось сердце, что я испугался. Я как-то слишком бегло обнял тебя при отъезде, присутствие посторонних стесняло меня: а как только экипаж тронулся, я почувствовал, что мне недостаёт прощального

поцелуя. Тоскующее сердце моё просило его. Очень непривычно писать к тебе. Как будто начинаешь письменное знакомство, совсем другое, чем наше с тобою. Что за ничтожное занятие – писать, и тот, кто сказал, что оно облегчает разлуку, был человеком очень холодным. Я хотел бы тебе изъяснить всё то, что не могу выразить. Я не выскажу никогда нужного мне, и всегда буду бояться, как бы все эти обороты, без коих не обойтись ни в одном письме, не уверили тебя, будто я пишу к тебе так, как к любой другой. Помнится, я рассказывал, как муж Марьи Андреевны заканчивал письма, которые он ей писал: то был перечень ласковых имён и прозваний; мы тогда весьма позабавились этому, но знаешь ли, сейчас мне кажется, что он очень любил свою жену, и в этом нет ничего смешного. А коли так, я хотел бы тебе сказать всё самое нежное, и не могу найти ничего лучше, чем назвать тебя Попинька, как будто ты рядом со мной. Душинька моя Попинька, да сохранит тебя Господь <...>. Если в течение вечера найдётся сообщить тебе что-нибудь занимательное, допишу. Обнимаю тебя сердечно. Девятковский приходил посмотреть Катиньку вчера и сегодня <...>» (перевод с французского).

Врач Девятковский не помог: Катинька умерла...

Спустя немного времени, в письме к Вяземскому Боратынский объясняет своё долгое молчание кончиной младшей дочери. Он пишет о своём глубоком унынии. «<...> Потеря ребёнка не есть великая потеря, но она живо напоминает возможность утрат важнейших; и эта смерть, которая так неожиданно, так невозвратно похищает у нас то, что мы любим, долго не выходит из памяти. Смерть подобна деспотичной власти. Обыкновенно она кажется дремлющею, но от времени до времени некоторые жертвы выказывают её существование и наполняют сердце продолжительным ужасом <...>».

Конечно, в то время в многодетных семьях кончина младенца была обычной и не казалась непоправимой бедой, но всё же некий налёт риторики, присущей Боратынскому в его юности, выглядит досадным...

Горе сменилось радостью: 18 июля у Боратынских родился первый сын – Лев, названный в честь Льва Николаевича Энгельгардта. (Заметим в скобках, снова имя выбрано родителями, а не священником по святцам.)

Бедную событиями жизнь в усадьбе скрашивали письма товарищей.

«Верный друг Денис Давыдов» (так он подписался) благодарил из своего симбирского имения Маза за память о нём. Красочно описывал, как пышно и чинно встречали его в Бугульме тамошние дамы и господа: «<...> ибо в провинции я также Бонапарте или, что ещё более, Паскевич». Дивился супруге своего старинного приятеля, бывшего адъютанта из Дрездена, к которому заехал на возвратном пути: «Жена – обрусевшая немка, хорошей фамилии, ибо родная племянница Алопеуса, посла нашего – но обрусевшая, и обрусевшая в Бугульме. Ты можешь вообразить это химическое соединение <...>».

Пройдясь по бугульминским обывателям, старый партизан принялся за братьев-литераторов: «<...> – Ты описываешь приём персидского принчика – удивляюсь, как можно етого гузнодава так роскошно и великолепно принимать! – Вяземского, московского эмигранта, я видел только в Пензе на ярмарке, где мне очень весело было. После ждал его у <неразборчиво>, но не дождался. Получил от него письма недавно. Он был с каким-то оригиналом провинциальным Кашкарёвым, который, говоря о лесе, сказал: “Quand les bouleaux prennent d’embonpoint!” <Когда берёзы становятся дородны>. Ещё, чтобы сказать, что у одной госпожи в

деревне ярмонка, он говорит: “Cette dame a la foire dans le vein (минуту молчания) de la Campagne” <в её жилах текут деревенские манеры>. – Видишь, что и мы не без смеха – но редко <...>».

Николай Путята бодро сообщал о победе в войне с Турцией. Вспоминал финляндскую молодость, юные мечты среди «мрачных картин угрюмой природы» о благословенных южных краях: «<...> Знамёна русские развеваются в Адрианополе и издали приветствуют родной щит Олега. С берегов древнего Герба, осенённых шатрами полуночных воинов, я пишу эти строки, чтобы изобразить тебе, как могу, окружающие нас новые для меня предметы. – Адрианополь, с дороги от Ямболя, по которой следовали наши войска, представляется отменно великолепно. Большое число высоких стройных минаретов, разнообразных куполов, блестящих позолотою и яркими цветами <...>; прекрасная тенистая роща вдоль реки, с развалинами обширного дворца султанов <...>» – и далее в том же духе...

Николай Коншин, обосновавшийся в Царском Селе, просил стихов для затеянного там с бароном Розеном литературного альманаха. Боратынский с радостью отвечал другу, винился за долгое молчание, но много стихов не обещал: «<...> Нынешний год за разными семейными заботами я писал особенно мало; но чем богат, тем и рад: братски поделюсь между тобой и Дельвигом <...>». Поздравлял «милого Коншина» с «семейственными надеждами» (у Коншина намечалось прибавление в семье): «Знаю по себе, как велика радость быть отцом. У меня, брат, уже порядочная семейка: сын и дочь, да я ещё потерял одну малютку <...>. Не забудь меня уведомить, что тебе Бог даёт. Я в моей татарской глуши выпью за здоровье твоего потомства <...>».

В сентябре 1829 года Боратынский с женой и детьми уехал в Мару и надолго, до следующей весны. «<...> Надеюсь, что в деревенском уединении проснётся моя поэтическая деятельность, – писал он Ивану Киреевскому, который собирался за границу. – Пора мне приняться за перо: оно у меня слишком долго отдыхало. К тому же, чем я более размышляю, тем твёрже уверяюсь, что в свете нет ничего дельнее поэзии <...>».

В октябре он поздравил Николая Коншина с отцовством: «<...> Воображаю твою радость и очень, очень бы желал вместе с Дельвигом быть у тебя на крестинах. Когда-то сведёт нас Бог! Моя жизнь, кажется, всегда будет делиться между Москвою и Тамбовом; ты основался в Царском Селе, но кому известно будущее! <...>»

И в деревне покоя не было, как писал он Вяземскому, от набега «целой орды соседей», этих «двуногих комаров», пьющих если не кровь, то «время на дело».

Как ни досаждали визиты скучающих помещиков и семейные хлопоты, Боратынский всё же принялся за большую работу. «<...> у меня новая поэма в пальцах, и поэма ультра-романтическая, – писал он в конце ноября И. Киреевскому. – Пишу её, очерта голову <...>».

Давно у него не было в посланиях такой добродушной бодрости!..

Вяземский прислал из Москвы своё переложение романа Б. Констана «Адольф», и Боратынский отвечал князю, что ему будет чрезвычайно любопытен «<...> перевод светского, метафизического, тонко чувственного “Адольфа” на наш необработанный язык», тем более выполненный такою рукою. Вяземский убеждал друга приняться за прозу, но поэт отговаривался тем, что проза ему не даётся и что «<...> суетное моё сердце всё влечёт меня к рифмам».



Прочитав «Введение к жизнеописанию фон-Визина», Боратынский заметил Вяземскому, что тот один на поприще русской литературы поступает, как настоящий писатель: «<...> вы передаёте ваше мнение обо всём и, наконец, нам будет известно, что вы о чём думали, между тем, как все другие русские писатели, даже с образованием, вовсе без образа мыслей».

Искренне полюбив Киреевского, Боратынский, наверное, был не против видеть его мужем своей обожаемой свояченицы, Сонечки Энгельгардт, – впрочем, скорее всего, это могло прийти раньше в голову его жене, Настасье Львовне. Молодые люди были уже представлены друг другу. Но что-то не заладилось между ними... В канун нового 1830 года Иван Киреевский уехал в долгое заграничное путешествие. А в январе Боратынский писал из Мары к младшей сестре жены, что весьма сердит на Киреевского: «<...> Измышления, которые он тебе передавал, – в то время как сам думал только о предстоящем путешествии, достойны сентиментального фата, столько же смехотворного, сколь непорядочного, – и тебе не стоит о нём жалеть. Твоя судьба, дорогая Софи, и те затруднения, с которыми ты столкнёшься в поисках сердца, столь же возвышенного, сколь твоё, огорчают меня; это примешивает толику грусти к тому удовольствию, которое доставляют мне твои успехи в свете. Впрочем, Бог милостив, и если уж Он создал тебя такой, какая ты есть, то, наверное, не для того, чтобы твоя прекрасная жизнь не нашла себе применения <...>» (*перевод с французского*).

Подробности этого несостоявшегося брака мало известны, да и вряд ли причина разлада была достаточно серьёзной, коль скоро София Энгельгардт через полгода, в июле 1830 года, была с визитом в доме Елагиных-Киреевских, «просидела» там «всё утро» (как сообщала сестра Ивана и Петра в письме к своим братьям) и «очень была любезна». По крайней мере, в тот раз дружбу Боратынского с Киреевским это не разрушило...

### Под солнцем Болдинской осени

В январе 1830 года в альманахе М. А. Максимовича «Денница» вышел отрывок из новой поэмы «Наложница». В этом же номере было напечатано «Обозрение русской словесности за 1829 год» Ивана Киреевского – там немало замечательных суждений о поэзии Боратынского, глубоких и точных:

«<...> муза Баратынского, обняв всю жизнь поэтическим взором, льёт равный свет вдохновенья на все её минуты и самое обыкновенное возводит в поэзию посредством осветительного прикосновения с *целою* жизнью, с господствующею мечтою. Оттого, чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нём нового, не замеченного с первого взгляда – верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в художественном отношении многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах, эту мерность изящную, эту благородную щеголеватость? Но если бы идеал лучшего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого языка. – Между тем красота жизни поэтической, с лица которой муза Баратынского сняла покрывало до половины, доказывает нам, что поэт



ещё не весь выразился в стихах своих; что мы должны ожидать ещё несравненно более того, что он совершил; что ему ещё предназначено столько превзойти наши ожидания, сколько разоблачение красоты может удивить воображение. <...>»

К поэме «Бал» Киреевский отнёсся более критически, однако выразил всё это довольно темно:

«Но в его “Бальном вечере”, напечатанном в прошлом году, есть недостаток, которого нет в “Эде”, ни в “Переселении душ”, этом миллом, остроумно-мечтательном капризе поэтического воображения: в “Бальном вечере” Баратынского нет средоточия для чувства и (если можно о поэзии говорить языком механики) в нём нет одной *составной силы*, в которой бы соединились и уравнились все душевные движения. Несмотря на это, однако ж, эта поэма превосходит все прежние сочинения Баратынского изящностью частей, наружную связью целого и совершенством отделки. В самом деле, кто, прочтя её, не скажет, что поэт сделал успехи; что самые недостатки его доказывают, что он требовал от себя больше, чем прежде; что смешение тени и света здесь не сумерки, а рассвет, заря новой эпохи для его таланта <...>».

Мысли И. Киреевского о Боратынском вызвали отклики в печати.

Александр Пушкин в рецензии, опубликованной «Литературной газетой», заметил, что критик видит в Боратынском поэта «самобытного, своеобразного» и «справедливо ставит “Эду”, одно из самых оригинальных произведений элегической поэзии, выше “Бального вечера”, поэмы более блестящей, но менее изящной, менее трогательной, менее вольно и глубоко вдохновенной». Последние слова, по сути, говорят о том, что Пушкин видел в поэме «Бал» больше обдуманности и мастерства, нежели стихийного вдохновения и своеобразия.

Николай Полевой подвергнул мнение Киреевского саркастическому разному, упрекнув автора в том, что «<...> даже недостатки он ставит г-ну Боратынскому в достоинство». Полевой в то время разорвал отношения с *аристократами*, разошедшись во взглядах на «Историю Государства Российского» Карамзина, и ругал их на чём свет стоит. А. П. Елагина, мать братьев Киреевских, писала к С. А. Соболевскому в начале 1830 года: «<...> Недавно Полевой сказал при многих, что Пушкин, Вяземский и Баратынский одним им стали так известны и что он втопчет их опять в ту грязь, из которой вынул <...>». То же самое и в схожих выражениях сообщал и Погодин Шевырёву в Рим...

Н. Полевой не ограничивался критикой в печати и устной бранью, но и писал вдобавок эпиграммы, чаще всего на Боратынского:

Зачем мою хорошенькую Музу,  
Голубчик мой, ты вздумал освистать?  
Зачем, скажи, схоластики обузу  
На жар ума ты вздумал променять?  
Тебя спасал сто раз, скажи, не я ли?  
Не я ль тебя лелеял и берёг,  
Когда тебя в толчки с Парнаса гнали,  
Душа моя, Парнасский простачок.

Полевой подписывался псевдонимом – *Гамлетов*. Он всерьёз полагал, что поэты обязаны славой исключительно критикам, в упор не замечая, что его «хо-

рошенькая Муза» способна лишь на корявые эпиграммы... Чуть позже *Гамлетов* обратился уже *Обезьяниным* – и спародировал пушкинское стихотворение «Собрание насекомых», задев вместе с Пушкиным всех его друзей по перу, – Боратынский был назван: «<...> *Финский наш чертополох*»...

Ни Боратынского, ни Вяземского, ни тем более Пушкина Полевой, несмотря на все свои потуги, *в грязь*, конечно, *не втоптал*, – разве что сам изрядно измарался...

По весне Боратынские вернулись в Москву и, как потеплело, стали наезжать в Мураново. Летом же Белокаменную поразила холера. Множество людей бежало куда глаза глядят: кто в ближние деревни, кто в дальние губернии. По опустевшим улицам тащились траурные процессии; по мостовым грохотали холерные зелёные фуры: пара лошадок да будочник с кнутом, оглядывающий запертые ворота. В дворах курился навоз: жители едким дымом хотели изгнать заразу...

Боратынские, как и другие оставшиеся в городе, закрылись дома, не выходя наружу. Первые недели, как позже признался поэт, были ужасны: никто не мог предвидеть, как разовьётся эпидемия, и ожидали самого худшего. Потом тревога вместе с болезнью пошла на убыль. В ноябре Боратынский писал к Вяземскому в его подмосковное поместье: «Скоро ли, любезный князь, вы решитесь оставить Астафьево и взглянуть на воскресающую Москву? Ежели она вам ещё кажется опасною, то вы не правы. Можно сказать решительно, что у нас нет уже холеры. Вновь занемогающие, во-первых, малочисленны, во-вторых, болезнь их уже не та, и они почти все выздоравливают. Всё грозное время я провёл в Москве, и хотя мне не было весело, но в то же время не так и тошно, как я ожидал. Мы заперлись в своём доме, никуда не выезжая и никого не принимая. Теперь все оживились, но к моему полному оживлению не достаёт вашего присутствия <...>». Впрочем, уже через несколько дней поэт написал Вяземскому снова, заметив, что всё-таки благоразумнее будет пока не покидать усадьбу...

Пушкин в ту пору готовился к женитьбе, однако холера вмешалась в его планы. Она застала его в Нижегородской губернии; карантины преградили поэту путь в Москву, к невесте, – и на три месяца он задержался в селе Болдино. Тем временем настала осень, его самое любимое время года, когда он крепнул здоровьем и был готов творить. Поначалу он было впал в меланхолию, но мрачное настроение быстро прошло. Бешеная жажда увидиться с невестой и неожиданная свобода от раздражающих предсвадебных хлопот, настоянные на ядрёном осеннем воздухе, вызвали в Пушкине небывалый душевный подъём. 9 сентября он писал к Петру Александровичу Плетнёву в Петербург:

«<...> Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает – того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию. (Василий Львович Пушкин умер 20 августа, и его хоронила вся литературная Москва. – *В. М.*) Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние слова? приезжаю к нему, нахожу его в забытии, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: *как скучны статьи Катенина!* и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным воином, на щите <...>. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты и засесть стихи писать. <...>

Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! Вообрази: степь да степь; соседей ни души; ездй верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов. <...>»

Так начиналась его знаменитая *Болдинская осень*...

Думы о грядущей семейной жизни, конечно, не покидали его. 29 сентября он писал к Плетнёву: «<...> Баратынский говорит, что в женихах счастлив только дурак; а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим <...>».

Но осень в степном селе оказалась на редкость *детородной*, как выразился Пушкин в письме к Дельвигу, и когда в начале декабря он наконец прорвался сквозь карантин в Москву, то сообщил Плетнёву: «Скажу тебе (за тайну), что я в Болдино писал, как давно уже не писал. Вот что я привёз сюда: 2 последние главы “Онегина”, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Анонуме. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий <...>. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Ещё не всё (весьма секретное)\* (\*для тебя единого – примечание А. С. Пушкина). Написал я прозой 5 повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся – и которые также напечатаем Анонуме <...>».

*Ржёт и бьётся* – весёлое это конское сравнение, возможно, происходит от псковской поговорки «*Ржёт конь к печали, ногою топает – к погоне*». Она – из собрания пословиц и поговорок XVII века немецкого купца Тённиса Фенне, жившего некоторое время в Пскове и записывавшего русские пословицы и присловицы. Вполне вероятно, что Пушкину эта поговорка стала известна в Михайловском Псковской губернии, куда он был выслан после Кишинёва и Одессы и где жил со своей няней Ариной Родионовной и живо интересовался русским разговорным языком. Если это действительно так, то Пушкин явно намекает на *печаль* Боратынского-эпика, которому не по силам угнаться за его поэмами, хотя тот и рвётся в творческую *погону*, дабы помериться силами в стихах и в прозе.

В своей «Летописи жизни и творчества Евгения Боратынского» Алексей Песков пишет об «интенсивном общении» Боратынского с Пушкиным в начале декабря 1830 года в Москве, о том, что Пушкин читал другу «Повести Белкина», сообщил о «Маленьких трагедиях», «Домике в Коломне», а возможно, и читал их, а Боратынский, в свою очередь, познакомил Пушкина со своей новой поэмой «Наложница». «<...> Соревнуя Пушкину, – замечает А. Песков, – Боратынский и Киреевский заключают между собой пари, по условию которого каждый должен написать повесть». Итогом этого пари стала написанная Боратынским в 1831 году повесть «Перстень».

*Соревновал* ли Боратынский Пушкину? Въяве это никак – ни словом, ни намёком – не проявилось. Поэзия не прыжки в высоту или в ширину. Задача истинного художника – отнюдь не *соревнование* с кем бы то ни было из современников или предков, а стремление вполне осуществить в творчестве *свой* природный дар. Без сомнения, Боратынский это понимал едва ли не лучше всех и неукоснительно тому следовал.

Заметим, что «Наложница» («Цыганка») стала последней его поэмой, а «Перстень» – первым и последним прозаическим произведением. То есть после 1831 года Боратынский сосредоточился в основном только на лирических стихах, отказавшись от поэм и прозы, хотя время от времени его и тянуло к ним. Все свои могучие силы он направил на философскую лирику и подарил русской и мировой словесности настоящие шедевры.

...Это лишь Булгарин не стеснялся заявлять, что если ему и есть соперник, то лишь Пушкин («Булгарин почитает себе соперником теперь одного Пушкина», – как писал в апреле 1829 года Погодин Шевырёву в Рим). Но что взять с простодушно-наглого Фаддея Венедиктовича!..

Впечатление Боратынского от того, что сотворил Пушкин за три месяца в Болдино, можно без преувеличения назвать огромным. В декабрьском, 1830 года, письме к Д. Н. Свербееву он пишет, что Пушкин привёз с собою из нижегородской деревни четыре трагедии, поэму, две главы «Онегина» и целую папку прозы:

«<...> Деятельность его неимоверна <...>».

Возможно, Пушкин и не обмолвился при том, что среди всей этой роскоши был и новый, третий по счёту набросок к статье о самом Боратынском. Несомненно, этот набросок стал бы основой того, что Пушкин собирался высказать на публике в статье о собрате по перу. Приведём его полностью:

«Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одарённого вкусом и чувством. Кроме прелестных элегий и мелких стихотворений, знаемых всеми наизусть и поминутно столь неудачно подражаемых, Баратынский написал две повести, которые в Европе доставили бы ему славу, а у нас были замечены одними знатоками. Первые, юношеские произведения Баратынского были некогда приняты с восторгом. Последние, более зрелые, более близкие к совершенству, в публике имели меньший успех. Постараемся объяснить причины. – Первой должно почтить самое сие усовершенствование и зрелость его произведений. Понятия, чувства 18-летнего поэта ещё близки и сродни всякому; молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растёт, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. (Пушкин здесь, по сути, повторяет мысли, высказанные Боратынским в феврале 1828 года в письме к нему. – В. М.) Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя и если изредка ещё обнаруживает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединенных, затерянных в свете. Вторая причина есть отсутствие критики и общего мнения. У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами. Публика мало ими занимается. Класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе как о политической экономии, о политической экономии как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, безо всяких основательных правил и сведений, а большею частию по личным расчётам. Будучи предметом их неблагосклонности, Баратынский никогда за себя не вступался, не отвечал ни на одну журнальную статью. Правда, что довольно трудно оправдываться там, где не было обвинения, и что, с другой стороны, довольно легко презирать ребяческую злость и площадные насмешки, тем не менее их приговоры имеют решительное влияние. – Третья причина – эпиграммы Баратынского, сии мастерские, образцовые эпиграммы не щадили правителей русского Парнаса. Поэт наш не только никогда не снисходил к журнальной полемике и ни разу не состязался с нашими Аристархами, несмотря на необыкновенную силу своей диалектики, но и не мог удержаться, чтоб сильно не выразить своего мнения в этих маленьких сатирах, столь забавных и язвительных. Не смеем упрекать его за них. Слишком было бы жаль, если б они не существовали. [Сноска Пушкина:

«<...> в эпиграмме Баратынского <...> сатирическая мысль приемлет оборот то сказочный, то драматический <...>. Улыбнувшись ей как острому слову, мы с наслаждением перечитываем её как произведение искусства»]. – Сия беспечность о судьбе своих произведений, сие неизменное равнодушие к успеху и похвалам, не только в отношении к журналистам, но и в отношении к публике, очень замечательны. Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта, никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчётливости, никогда не тащился по пятам свой век увлекающего гения, подбирая им оброненные колосья; он шёл своей дорогой один и независим. Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды <Батюшкова>».

На полях рукописи этого замечательного наброска – начертанный летучим пером Пушкина профиль Евгения Боратынского...

### Прощание с Дельвигом

Не успела Москва толком отойти от холеры и зажечь прежней жизнью, как навалились новые напасти, – и Боратынский, который крайне редко говорил о *политике*, был явно ими встревожен. Даже в письме к матери в Мару он, поначалу рассказав о своих малышах Сашиньке и Лёвушке, вдруг упомянул про революцию в Бельгии. Ещё больше его поразило *возмущение* в Варшаве и особенно то, что великий князь Константин принуждён был её оставить. «<...> Этого мало. С небольшим числом войска он поставил себя в западню. Висла, находящаяся за ним, не позволяет ему ретироваться в Литву. Прибавьте к этому, что и Литва ненадежна. Литовский корпус весь составлен из поляков. Много, много, что половина его останется на стороне русских. Вот минута борьбы решительной, развязка, которая влечёт за собой неисчислимыя последствия. Нам теперь нужна величайшая быстрота и энергия. После этой новости все другие маловажны <...>».

По этому письму видно: Боратынский, который никогда не выставлял себя патриотом и не слагал про то стихов, в глубине души был им и внимательно следил за тем, что творится в России и в Европе.

В том же письме к Вяземскому он говорит и о несчастье, постигшем «Литературную газету» Дельвига: она была запрещена – «<...> за четверостишие де ла Виня, вероятно, по старанию Булгарина. <...> Как жаль, что вы <в> соседстве, а делать нечего <...>».

Это четверостишие было посвящено жертвам Июльской французской революции, и донёс на редактора, действительно, Фаддей Булгарин. Позже об этом сказал Дельвигу граф Бенкендорф, который вызвал поэта-редактора к себе и обвинил в действиях против правительства. Был крайне груб с благовоспитанным Дельвигом, оскорбительно *тыкал* ему, а в конце пригрозил, что упрячет его с друзьями (Вяземским и Пушкиным) в Сибирь.

Запрещение «Литературной газеты», единственного издания *аристократов*, было весьма чувствительным ударом по пушкинскому кругу литераторов. Ещё в Болдино Пушкин получил грустное письмо от своего лицейского друга, в котором тот возмущался, что по проискам корыстолюбивых подлецов он, «истинно привязанный к своему Государю», прослыл карбонарием. Пушкин полагал, что



царь, в которого он так же, как и Дельвиг, верил, во всём разберётся. Но всё-таки, по возвращении в Москву, не без раздражения писал к Плетнёву 9 декабря 1830 года: «<...> Итак, русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу! жаль – но чего смотрел и Дельвиг? охота ему было печатать конфетный билетец этого несносного Лавинья. Но всё же Дельвиг должен оправдаться перед государём. Он может доказать, что никогда в его “Газете” не было и тени не только мятежности, но и недоброжелательства к правительству. Поговори с ним об этом. А то шпионы-литераторы заедят его как барана, а не как барона <...>».

Возможно, это писалось и в расчёте на тех, кто вскрывал письма и доносил об их содержании правительству, однако делу не помогло. Булгарин с Гречем заели конкурента и не подавились...

Дельвиг, и без того в последние годы хворавший, был поражён этим ударом. Жестокая *гнилая горячка* в несколько дней унесла его жизнь: 14 января 1831 года он скончался, не прожив и тридцать три года.

В ту же ночь Плетнёв писал к Пушкину: «<...> По себе чувствую, что должен перенести ты. <...> Теперь я остался один. <...> Милый мой, что ж такое жизнь?»

Через несколько дней из Петербурга пришло письмо и Боратынскому – от О. Сомова: «С чего начну я письмо моё, почтеннейший Евгений Абрамович? Какими словами выскажу вам жестокую истину, когда сам едва могу собрать несколько рассеянных, несвязных идей: милый наш Дельвиг – наш только в сердцах друзей и в памятниках талантов: остальное у Бога! <...> Право, мысли мои и все душевные силы растерялись <...>. Приготовьте Пушкина, который, верно, теперь и не чаёт, что радость его <женитьба> возмутится такою горестью. Скажите кн. Вяземскому, И. И. Дмитриеву и Михаилу Алексан. Максимовичу – и всем, всем, кто знал и любил покойника, нашего незабвенного друга, что они более не увидят его, что Соловей наш умолк на вечность <...>».

Пушкин уже знал о смерти друга. Когда на следующий день известие подтвердилось, он поехал к тестю Дельвига Салтыкову – и не смог сообщить больному старику ужасную новость. *Не имел духу* – так объяснил Плетнёву в письме. «<...> Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная, – писал Пушкин ему в Петербург 21 января. – Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нём как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изю всех связей детства он один оставался на виду – около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Боратынский, вот и всё. <...>

Боратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров – и постараемся быть живы».

Вновь, как прежде в тяжких душевных переживаниях, Боратынского свалил недуг...

На поминальном обеде в «Яре», где были Пушкин, Вяземский, Языков, он сказал о желании написать о жизни своего бедного друга. Пушкин загорелся этой мыслью: предлагал собрать в помощь все воспоминания. «<...> Я знал его в Лицее – был свидетелем первого незамеченного развития его поэтической души, – писал он Плетнёву. – <...> Я хорошо знаю, одним словом, его первую молодость; но ты и Боратынский знаете лучше его раннюю зрелость. Вы были свидетелями возмужалости его души. Напишем же втроём жизнь нашего друга <...>».

Однако у Пушкина совсем не было времени: его всё больше одолевали предсвадебные хлопоты. И чем ближе было венчание, тем мрачнее становилось у него



на душе. 17 февраля, в канун свадьбы, он собрал в доме Хитрово на Арбате «мальчишник», где был и Боратынский. Иван Киреевский, присутствовавший на этом прощании поэта с молодостью, вспоминал, что Пушкин был так необыкновенно грустен, что гостям было даже неловко...

Плетнёв тоже не принялся за воспоминания о Дельвиге: горевал о кончине своего близкого друга Молчанова...

Проходил месяц за месяцем, а Боратынский всё не мог взяться за перо. В письмах товарищам корил себя за «леность», но снова и снова отлагал дело. И не семейные заботы, ни поездки в Мураново, и даже ни дальнейшее путешествие со всей роднёй в казанскую вотчину не были главной причиной этого молчания. Через полгода, в июле, в Каймарах, взволнованный письмом Плетнёва, Боратынский попробовал найти объяснение: «<...> Потеря Дельвига для нас незаменима. <...> – Боже мой! как мы будем ещё одиноки! <...> потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений. Я ещё не принимался за жизнь Дельвига. Смерть его ещё слишком свежа в моём сердце. Нужны не одни сетования, нужны мысли; а я ещё не в силах привести их в порядок <...>»

Биографию Дельвига он так и не написал.

Помянул друга молодости печальным и светлым стихотворением, возникшим осенью 1831 года, – оно было напечатано в декабре в «Северных цветах на 1832 год», целиком посвящённым памяти Антона Дельвига:

Не славь, обманутый Орфей,  
Мне Элизийские селенья:  
Элизий в памяти моей  
И не кропим водой забвенья.  
В нём мир цветущей старины  
Умерших тени населяют,  
Привычки жизни сохраняют  
И чувств её не лишены.  
Там жив ты, Дельвиг! Там за чашей  
Ещё со мною шутишь ты,  
Поёшь веселье дружбы нашей  
И сердца юные мечты.

Глава девятнадцатая  
**«ДАРОВАНИЕ ЕСТЬ ПОРУЧЕНИЕ»**

**Писательский крест**

Ранняя и неожиданная смерть Дельвига повергла Боратынского в болезнь, разбередила душу и заставила ещё больше задуматься о своём призвании.

Поправившись, он по весне уехал с семьёй в Мураново.

В канун этой поездки в московской типографии при Императорской Медико-Хирургической Академии вышла из печати его поэма «Наложница». Впрочем, на обложке значилось отнюдь не слово – поэма, а *сочинение*, – но по сути это был роман в стихах.

К тому времени у Боратынского было, по-видимому, готово и сочинение в прозе – повесть «Перстень», которую он намеревался передать «Литературной газете». «Лета к суровой прозе клонят, / Лета шалунью рифму гонят...», – заметил про себя Пушкин в «Евгении Онегине», – не то ли самое чувствовал и его ровесник Боратынский, не спешивший, однако, расставаться со стихами. Именно в это время он глубоко задумывается о том, что же такое роман и каким он должен быть. В письмах к Ивану Киреевскому (предполагаемо, весны 1831 года) эти мысли выражены с предельной остротой:

«<...> Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени по той причине, что все они придерживались какой-то системы. Одни – спиритуалисты, другие – материалисты. Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только её духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом. Хотя всё сказано, но всё сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете. Вот тебе вкратце и на франкмасонском языке мои размышления <...>».

Это пока *теория*, до дела ещё не дошло; сказывается давняя привычка всё досконально продумать, прежде чем взяться за перо.

«Я покуда ничего не делаю. Деревья и зелень столько же развлекают меня в деревне, сколько люди в городе. Езжу всякий день верхом, одним словом веду жизнь, которой может быть доволен только Рамих <...>», – шутит Боратынский, упоминая имя семейного врача.

В следующем письме к другу поэт сообщает, что летом, «...а в сентябре непременно», он будет в Москве и тогда уже вполне растолкует свои мысли о романе, которые он изложил «слишком категорически». Киреевский в то время сам работал над романом: с кем ещё, как не с ним, хотелось поделиться всем, что накопилось на душе:

«<...> Как идеал конечного возьми “L’ane mort” и “La confession” <романы Жюль Жанена “Мёртвый осёл”, 1829, и “Исповедь”, 1830>, как идеал спиритуальности – все сентиментальные романы: ты увидишь всю односторонность того и другого рода изображений и их взаимную неудовлетворительность. Фильдинг, Вальтер Скотт ближе к моему идеалу, особенно первый, но они угадали каким-то инстинктом современные требования и потому, попадая на настоящую дорогу, беспрестанно с неё сбиваются. Писатель, привыкший мыслить эклектически, пойдёт, я думаю, далее, то есть будет ещё отчётливее. Не думай, чтобы я требовал систематического романа, нет, я говорю только, что старые не могут служить образцами. Всякий писатель мыслит, следственно, всякий писатель, даже без собственного сознания, – философ. Пусть же в его творениях отразится собственная его философия, а не чужая. Мы родились в век эклектический: ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая философия должна отразиться в наших творениях; но старые образцы могут нас сбить с толку, и я указываю на современную философию для современных произведений, как на магнитную стрелку, могущую служить путеводителем в наших литературных поисках <...>».

В Мураново он читает Руссо:

«<...> он пробудил во мне много чувств и мыслей. Человек отменно замечательный и более искренний, нежели я сначала думал. Всё, что он о себе говорит, без сомнения, было, может быть, только не совсем в том порядке, в котором он рассказывает. Его “Confessions” <«Исповедь»> – огромный подарок человечеству <...>».

В Мураново настроение поэта наладилось. Нет лучше лета, чем в деревне: и проснуться весело, и гулять весело; часом раньше, нежели в Москве, чай поутру, и обед, и ужин; да ещё беседы, прогулки верхом по окрестным полям и лесным просёлкам; да ещё «то чувство, которому нет имени», – всё, всё это и составляет «эту благодать семейного счастья».

Новое письмо к Ивану Киреевскому исполнено необыкновенной сердечной теплоты. Утрата Дельвига только обострила его потребность в настоящем друге. И чувство его к жене, Настасье Львовне, стало уже таким, когда они – одно целое. Боратынский пишет письмо *слиянно* – не разделяя себя с ней:

«Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастью; картина его была бы весьма неполной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удовольствие, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни. Ты из неё не выходишь и в мечтах наших о будущем, и когда мы располагаем им по воле нашего сердца, ты всегда у нас в соседстве, всегда под нашим кровом. Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто ещё не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру <...>».

Поэт с нетерпением ждёт обещанного ему разбора «Наложницы», пишет о слоге Пушкина и Жуковского в новых их произведениях, сообщает, что выслал другу интересные книги Сисмонди и Вильмена, которые сам недавно прочёл.

Слухи о том, что в Москве снова холера, переменили всё намеченное: Боратынские всей семьёй, вместе с Львом Николаевичем Энгельгардтом, спешно собрались и отправились в его имение Каймары близ Казани. Надо было уберечь малых детей от заразы, да и к тому же Настасья Львовна снова ждала ребёнка.

Дорога была дальней и непростой: пришлось объезжать те города и веси, где «показалась холера». Лишь по прибытии в Казань Боратынский, не меньше других уставший от жары и тряски, смог написать несколько слов Киреевскому. Получилось, как сам он определил, *ералашь*: тут было и о скуке путешествия по однообразным степным просторам, и о том, как много он обдумал по дороге, и о своей надежде наконец-то, в деревенской глуши и уединении, «путём приняться за перо».

У Энгельгардта в Казани имелся собственный деревянный дом; здесь поначалу и остановились. Отдохнув, тронулись в усадьбу. Каймары были в двадцати вёрстах от города. Тесть поэта владел там большим двухэтажным каменным домом, рядом с которым был разбит парк, фруктовый сад, вырыты пруды. Имение прежде принадлежало казанскому воеводе Никите Алферовичу Кудрявцеву и было пожаловано ему Петром I. В 1722 году Пётр сам посетил Каймары и, по преданию, подарил местной церкви крест. В середине XVIII века барский дом был заново перестроен по проекту знаменитого архитектора Растрелли и располагал множеством комнат... Ныне от былого великолепия каймарской усадьбы сохранился лишь обломок кирпичной стены среди бурьяна; каменный же храм, хоть частью порушен, всё же уцелел и хранит остатки своей некогда прекрасной росписи.

Ещё в Казани Боратынский написал в Межевую канцелярию прошение об отставке от службы – и вскоре получил желаемый аттестат. Отныне поэт был совершенно свободен. Он горел желанием засесть за стол и целиком отдаться литературе. Не потому ли его так взволновало полученное накануне письмо от Петра Плетнёва, дышащее «разуверенностью и унынием»? Боратынский отвечал старому товарищу:

«<...> Поговорим о тебе. Неужели ты вовсе оставил литературу? Знаю, что поэзия не заключается в мёртвой букве, что молча можно быть поэтом; но мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа. Примись опять за перо, мой милый Плетнёв; не изменяй своему назначению <...>».

Кажется, эти пылкие слова обращены и к самому себе – недаром вслед за ними Боратынский прибавил – уже во множественном числе:

«Совершим с твёрдостью наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия, а главное из них – унылость <...>».

А далее – его обычная лёгкая усмешка над своей невольной патетикой: «Прощай, мой милый. Я стал проповедником. Слушай мои увещания, а я буду слушать – твои <...>».

Поэт поблагодарил петербургского друга за похвалы своей новой поэме, которые его утешили в *неблагоприятном* расположении других критиков, и передал поклон Пушкину...

### Вокруг «Наложницы»

Свою *ультраромантическую* поэму «Наложница» Боратынский сочинял, как он признавался Киреевскому в ноябре 1829 года, *очертя голову*. После её выхода в свет написал Николаю Путьте, что считает «Наложницу» лучшей своей поэмой. Письмо к другу с возражениями на его критику было написано в Казани в начале июля 1831 года, – как раз по дороге сюда поэт *многое обдумал* и потому это отнюдь не случайная самопохвала, а глубоко выношенное убеждение:

«<...> Не спорю, что в “Наложнице” есть несколько стихов небрежных, даже дурных, но поверь мне, что вообще автор “Эды” сделал большие успехи в своей последней поэме. Не говорю уже о побеждённых трудностях, о самом роде поэмы, исполненной движения, как роман в прозе, сравни беспристрастно драматическую часть и описательную; ты увидишь, что разговор в “Наложнице” непринуждённое, естественное, описания точнее, проще. <...> Обыкновенно мне моё последнее сочинение кажется хуже прежних, но перечитывая “Наложницу”, меня всегда поражает лёгкость и верность её слога в сравнении с прежними моими поэмами. Ежели в “Наложнице” видна некоторая небрежность, зато уж совсем незаметен труд; а это-то и нужно было в поэме, исполненной затруднительных подробностей, из которых должно было выйти совершенным победителем или не браться за дело. Я заболтался, милый. Извини, что с тобою спорю. Ты знаешь, что я охотно соглашаюсь с критиками, когда нахожу их справедливыми; но на твою не согласен <...>».

По тем временам, как заметила филолог Л. Андреевская, в смутное понятие *романтического* входило и что-то таинственное, запретное и даже преступное. В этом смысле, считает она, Боратынский был прав, называя своё произведение *ультраромантическим*: «Незаметная и элегическая смерть Эды во второй поэме (“Бал”. – В. М.) была заменена самоубийством героини, а в третьей поэме мы имеем убийство героя и сумасшествие героини. В сущности “психологизм” здесь уже доведён до драматической высоты, но не мелодрамы, так как эффект не в занесённом кинжале, не в протянутом кубке с отравой, т. е. в убийстве, а эффект в сознании того, что

убийство не нарочно, случайно. Поэтому поэма заканчивается сумасшествием».

Сюжет «Наложницы» прост, но на редкость драматичен, страсти накалены до предела. Елецкой безумно скучает в свете и открыто порывает с ним, взяв в дом молодую цыганку Сару. Но и разгульная жизнь надоедает ему, он чувствует душевную пустоту и неудовлетворённость. В нём внезапно вспыхивает любовь к чистой и доброй светской барышне Вере. С большим упорством Елецкой добивается от неё ответного чувства и наконец успевает в этом. Почуввав измену, Сара бешено ревнует и страдает, ибо по-прежнему любит. Старая Ненила приносит приворотный напиток, и влюблённая цыганка, не подозревая, что в нём яд, подносит кубок Елецкому. Тем временем Вера тайно покидает дом, чтобы бежать и тайно обвенчаться с Елецким. Но напрасно она его ждёт: герой мёртв...

Отныне Верой утрачен – и, возможно, навсегда –

Иль жизни цвет, иль цвет души <...>.

А цыганка Сара, возвратившаяся в табор, с тех пор «сурова и мрачна»: она «разум в горе погребла».

<...> Вотще родимые напевы  
Уносят душу бедной девы  
В былые лучшие года!  
Так резвый ветер иногда  
Листок упавший подымает,  
С ним вьётся в светлых небесах,  
Но, вдруг утихнув, опускает  
Его опять на дольний прах.

Самооценка Боратынского верна: поэма исполнена *движения* – той открытой, яркой и прямой силы жизни, когда чувствуют не в полнакала, а вполне, *наотмашь*, когда отдаются страсти, не думая о последствиях, и, коли падают, то не *подостлав соломки*. Под стать этому *движению* и слог поэмы: он жив, образен, прям, порой простонароден. Конечно, тогдашние чопорные критики никак не ожидали от «изящного лирика» такого своеволия: они, в большинстве, ханжески оскорбились «грубостью» стихов и «низменностью» содержания поэмы. Правду жизни и правду характеров эти «оберегатели устоев», разумеется, не заметили.

Издатель «Дамского журнала» Шаликов, по его уверению – «более других журналистов» призванный «уважать благоприличие», в своём отзыве не посмел даже *наименовать* заглавие поэмы, дабы не оскорбить им своих читательниц. Слово «Наложница» он заменил сочетанием – «Новое сочинение Баратынского, в стихах», как будто бы прикрыв этим фиговым листком нечто неблагопристойное.

Некий рецензент «Юр.» в альманахе «Сын отечества и Северный архив» задался вопросом: «<...> Но зачем утомлять нас изображением порока, облекать его в краски поэзии и тем соблазнять слабых? <...> – Утверждая, что всякий предмет может быть безнравственным, поэт забыл, что часто тот же самый предмет может быть *неблагопристойным*. Не говорим этого о “Наложнице” решительно, ибо в ней неблагопристойнее всего заглавие <...>. Вопрос: как спросить мне у девушки, даже взрослой, которой дают все книги, у дамы, даже у мужчины в присутствии дам, читали ль они “Наложницу”, не заставив их покраснеть до ушей? <...>».

Хотя рецензент и отметил некоторые «места» в поэме, обличающие «талант поэта», и сказал несколько слов о «превосходном языке», впрочем, сбивающемся в «прозаизм», однако, по его мнению, всё это не искупает недостатков «всего романа, строго рассматриваемого в целом».

Боратынский предугадал все эти обвинения, предпослав изданию поэмы – словно бы в защиту своего любимого творения – пространное предисловие, больше напоминающее программную статью. Он восстал против наглого с у д а «господ журналистов», привыкших обвинять то поэмы Пушкина, то его собственные в безнравственности. От писателя, по мнению Боратынского, требуются не нравственные поучения, а *истина показаний* о человеке.

Не странно ли, говорит он в начале, что в государстве, имеющем цензуру, вообще слышать такие обвинения? Поэт легко опроверг лукавое требование критиков выставлять порок лишь отвратительным, а добродетель – только привлекательной. «<...> Мы погрешим против истины: не все пороки имеют вид решительно гнусный. По большей части наши добрые и злые начала так смежны, что нельзя провести разделяющей линии между ними <...>» – и добавил, что в этом случае «отменно истинны шуточные стихи Панара», которые в дословном переводе с французского звучат так: «Избыток холодности – это равнодушие, избыток деятельности – суетность, избыток суровости – чёрствость, избыток тонкости – лукавство, избыток бережливости – скупость, избыток храбрости – безрассудство, избыток услужливости – низость, избыток доброты – слабость, избыток гордости – высокомерие и т. д.»

«Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями, – продолжил Боратынский свою мысль, – но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злему.»

Нет человека совершенно добродетельного, т. е. чуждого всякой слабости, ни совершенно порочного, т. е. чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего: один был добродетелен по необходимости, другой порочен по той же причине; в одном не было бы заслуги, в другом вины; следственно, ни в том, ни в другом ничего нравственного.

Характеры смешанные, именно те, которые так нелюбят дам журналистам, одни естественны, одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность <...>».

*Прекрасное*, по его глубокому замечанию, *не для всех*, ибо непонятно даже людям умным, но не одарённым «особенною чувствительностью». Тут речь о врождённой способности понимать поэзию, о том чувстве, которым одарены немногие. Однако любой вполне может понять правду жизни, которую изображает художник: людские страсти и нравы, добродетели и пороки, добрые и злые побуждения.

Если *показания* писателя верны, то «<...> впечатление, вами полученное, будет непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней Провидением, конечно, не развратительно и мир действительный никого ещё не заставил воскликнуть: как прекрасен порок! как отвратительна добродетель!

Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием: справедливы или несправедливы его показания?

Критика может жаловаться также на неполноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное <...>».



Боратынский закончил своё вступление утверждением, что в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность; «<...> но ни лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание тотчас рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследования и противоречия, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги <...>» – и обратился к читателю с просьбой судить о нравственном достоинстве своей поэмы по правилам, изложенным им самим, а не по правилам господ журналистов, «довольно необдуманном».

Мысли Боратынского во многом совпали с пушкинскими замечаниями на ту же тему. Пушкин остроумно досадовал: «Граф Нулин наделал мне больших хлопот. Нашли его безнравственным, разумеется в журналах... Но шутка, вдохновенная сердечной весёлостью и минутною игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или тёмное понятие, смешивая её с нравоученьем, и видят в литературе одно педагогическое занятие».

Впрочем, Пушкин знал цену критике. В письме к М. Погодину (от 11 июля 1831 года) есть такие слова: «У нас критика, конечно, ниже даже и публики, не только самой литературы. Сердиться на неё можно, но доверять ей в чём бы то ни было – непростительная слабость».

Прежде Боратынский никогда не отвечал журнальным обозревателям *прозой* – отшвыльвался колкими эпиграммами. В предисловии к изданию «Наложницы» он осуществил давнее желание дать отповедь *литературным судиям*, несведущим в поэзии, превратно толкующим творения поэта. Ведь в «Наложнице» он исследовал, только с ещё большей силой и глубиной, те же страсти и те же характеры, что раньше – в «Эде» и в поэме «Бал». Разумеется, его спокойный, твёрдый отпор только раздражил и раззадорил критиков.

Н. Полевой в «Московском телеграфе» посчитал, что поэт «с важностью» нагромоздил пустые слова и что «своим слабым опровержением» он только подал повод «соперникам (? – В. М.) торжествовать над ним». Рецензент заявил, что его издание якобы никогда не поднимало тему нравственности художественных произведений и судит исключительно о поэзии. Не приведя никаких доказательств, он назвал поэму Боратынского холодной и несовершенной: «<...> стихи в “Наложнице” тяжелы, неуклюжи, писаны так небрежно, что погрешности их непростительны едва начинающему писать <...>».

С Полевым всё понятно: он явно не забыл едких эпиграмм Боратынского и, видимо, не удовлетворяясь своими ответными, сводил с поэтом старые счёты.

Полевого и подобных ему оппонентов превзошёл в таких же огульных нападках молодой критик Н. Надеждин из «Телескопа». В своей витиеватой статье он издевался над «апологетическим» предисловием и, наконец, пришёл в заключение, что «<...> наш стихотворец, занимая почётное место в литературе, не понимает, что такое литература <...>». Под стать этому нелепому выводу и разбор самой поэмы:

«<...> Безумен художник, оживляющий образ улитки на полотне или перелагающий на музыкальные ноты лягушечье кваканье: ещё безумнее поэт, источающий свою творческую деятельность на представление пороков и преступлений, коих гнусность гораздо отвратительнее <...>. Но хладнокровный рассказ, передающий официальные извлечения из архивов соблазна и преступления для одного удовольствия сообщать их – сколь бы ни был *справедлив и полон*, – есть произведение безобразное и безнравственное <...>».

Донельзя путаное словесное крючкотворство предуготовило ядовитый парадокс: «Но мы смело защищаем его (Боратынского. – В. М.) против самого себя и объявляем сочинение сие если не положительно *нравственным*, то совершенно *невинным*. Разврат представлен в нём так, что на него можно только заезваться: и не живо, и не ярко, и не полно! <...>».

И под занавес – лицемерная тирада:

«Но заключением наших замечаний да будет искреннее повторение всегдашнего нашего желания, чтобы муза поэта, уважаемого нами более многих других – после прошедших неудачных опытов, изменив ложные понятия о назначении и существе изящной словесности, – захотела быть не тем, что ныне, а <...> невестою истинно прекрасного!.. Мы б от души поспрадновали на её обручении!..»

Пока выходили эти и другие отзывы, Боратынский находился в Каймарах, где задержался на целый год. Журналов он там не получал и далеко не сразу ознакомился со статьёй в «Телескопе» и с критикой в других изданиях. А когда прочитал – ответил статьёй «Антикритика» (напечатанной в журнале И. В. Киреевского «Европеец» в январе 1832 года), где по пунктам опроверг выспренность и путаные суждения Надеждина. Пушкин в письме к Ивану Васильевичу назвал эту статью хорошей, но слишком тонкой и растянутой.

В том же номере журнала появилась и давно ожидаемая Боратынским статья Киреевского о «Наложнице». Этот замечательный отзыв, данный философом, – одно из самых глубоких и проникновенных суждений не только о разбираемой поэме, но и о всей поэзии Боратынского, о её духе и потаённой сути...

«Поэма Боратынского имела в литературе нашей такую же участь, как и трагедия Пушкина < «Борис Годунов» >; её также не оценили, также не поняли, также несправедливо обвиняли автора за недостатки небывалые, также хвалили его из снисхождения к прежним заслугам, и с таким тоном покровительства, который Гёте из деликатности не мог бы принять, говоря о писателях едва известных, – начал статью Киреевский. Эти нелепые учительские порицания критиков он назвал литературным самоуправством – и по крайней мере странным. – Но оно покажется ещё страннее, когда вспомним, что те же самые критики, которые поступали таким образом с Боратынским, большую половину статей своих о его поэме наполнили рассуждениями о нравственных и литературных приличиях <...>».

Киреевский убеждён, что «Наложница» отличается от других поэм Боратынского «большею зрелостью в художественном исполнении», что философ тут же и показал, сравнив её с «Эдой» и с «Бальным вечером» («Балом»). Но художественное совершенство, по Киреевскому, качество второстепенное и относительное, оно не самобытно и «зависит от внутренней, его одушевляющей поэзии». Мыслитель зрит в основу, в корень: он пытается определить главное – характер поэзии Боратынского, её дыхание, её обаяние и аромат и, лишь проникнув в самую суть его творчества, оценивает последнюю поэму:

«Музу Боратынского можно сравнить с красавицею, одарённою душою глубокою и поэтической, красавицею скромною, воспитанной и столь приличной в своих поступках, речах, нарядах и движениях, что с первого взгляда она покажется обыкновенною; толпа может пройти подле неё, не заметив её достоинства; ибо в ней всё просто, всё соразмерено и ничто не бросается в глаза ярким отличием; но человек с душевною проницательностью будет поражён в ней именно теми качествами, которых не замечает толпа. – Вот отчего нередко случается нам встречать людей

образованных, которые не понимают всей красоты поэзии Баратынского и которые, вероятно, нашли бы его более по сердцу, если бы в его стихах было менее простоты и обдуманности, больше шуму, больше оперных возгласов и балетных движений <...>. – Но эта обдуманность и мерность, эта благородная простота и художественная законченность, которыми отличаются произведения Баратынского, не составляют случайного украшения стихов его; они происходят из самой сущности его поэзии, которая так же, как поэзия Батюшкова, дышит единственно любовью к соразмерностям и к гармонии. Вся правда жизни представляется нам в картинах Баратынского в перспективе поэтической истройной; самые разногласия являются в ней не расстройством, но музыкальным диссонансом, который разрешается в гармонию. Оттого, чтобы дать простор сердцу, ему не нужно выдумывать себе небывалый мир волшебниц, привидений и животного магнетизма; в самой действительности открыл он возможность поэзии, ибо глубоким воззрением на жизнь понял он необходимость и порядок там, где другие видят разногласие и прозу. Оттуда утверждение его, что всё истинное, вполне представленное, не может быть не нравственное; оттого самые обыкновенные события, самые мелкие подробности жизни являются поэтическими, когда мы смотрим на них сквозь гармонические струны его лиры. Бал, маскарад, неприятное письмо, пированье друзей, неодинокая прогулка, чтение альбомных стихов, поэтическое имя – одним словом, все случайности и все обыкновенности жизни принимают под его пером характер значительности поэтической, ибо тесно связываются с самыми решительными опытами души, с самыми возвышенными минутами бытия и с самыми глубокими, самыми свежими мечтами, мыслями и воспоминаниями о любви и дружбе, о жизни и смерти, о добре и зле, о Боге и вечности, о счастье и страданиях, о их цели, следах и поэзии. – Эти возвышенные, сердечные созерцания, слитые в одну картину с ежедневными случайностями жизни, принимают от них ясную форму, живую определённую и грациозную ощутительность, между тем как самые обыкновенные события жизни получают от такого слияния глубину и музыкальность поэтического создания. Так, часто не унося воображения за тридевять земель, но оставляя его посреди обыкновенного быта, поэт умеет согреть его такою сердечною поэзией, такою идеальною грустию, что, не отрываясь от гладкого, вошёного паркета, мы переносимся в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную. – Это направление поэзии Баратынского янее, чем в других поэмах, выразилось в его “Наложнице” <...>.

Несмотря на все достоинства поэмы, Киреевский заметил и её недостатки. По его мнению, это «что-то бесполезное стесняющее, что-то условно-ненужное, что-то мелкое», как в картинах голландского художника Миериса, что не позволяет художнику вполне развить поэтическую мысль: «<...> Уже самый объём поэмы противоречит возможности свободного излияния души <...>. Так самая любовь к прекрасной стройности и соразмерности вредит поэзии, когда поэт действует в кругу, слишком ограниченном <...>». Киреевскому кажется, что музе Баратынского, его воображению необходим более широкий простор, что поэт способен, больше чем другие, создать поэтическую комедию, «состоящую не из холодных карикатур, не из печальных острот и каламбуров, но из верного и вместе поэтического представления жизни действительной, как она отражается в ясном зеркале поэтической души, как она представляется наблюдательности тонкой и пронизательной, перед судом вкуса разборчивого, нежного и счастливо образованного». Тогда, как мечтает критик, публика лучше поймёт всю глубину его поэзии и оригинального взгляда на жизнь.

Пушкин в письме Киреевскому выразил сомнение по этому поводу этого мечтательного пожелания, ведь комедия, как и сценическая живопись, требует кисти более резкой и широкой, чем у Боратынского. Киреевский в ответном письме не согласился с Пушкиным; «<...> Говоря, что Баратынский должен создать нам нового рода комедию, я основывался не только на пронизательности его взгляда, на его тонкой оценке людей и их отношений, жизни и её случайностей, но больше всего на той глубокой, возвышенно-нравственной, чуть не сказал гениальной деликатности ума и сердца, которая всем движениям его души и пера даёт особый поэтический характер и которая всего более на месте при изображении общества. Впрочем, Вы лучше других знаете Баратынского и лучше других можете судить о нём, потому я уверен, что по крайней мере в главном мы с Вами не розним <...>».

Желая от Боратынского новой комедии, Киреевский явно был под впечатлением ярких драматических диалогов в «Наложнице», – вот почему ему показалось, что поэт движется в своём развитии к драматургии. Однако Пушкину, действительно, было виднее: Боратынский по природе – лирик. Но и поэмы Боратынского он любил, вполне признавая его эпический дар: позже, в апреле 1832 года, он писал М. В. Юзефовичу: «<...> Отрадно, что “Наложница» Баратынского Вам понравилась, ход поэмы любопытен, исполнение – поэтично и оригинально. Мне очень нравится предисловие, полное чувства и здравых рассуждений <...>» (*перевод с французского*).

Боратынский, прочитав статью Киреевского, написал другу (февраль 1832 года):

«<...> Разбор “Наложницы» для меня – истинная услуга. <...> Ты меня понял совершенно, вошёл в душу поэта, схватив поэзию, которая мне мечтается, когда пишу. Твоя фраза: “переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную” заставила меня восторгнуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже. Не могу не верить твоей искренности: нет поэзии без убеждения, а твоя фраза принадлежит поэту. Нимало не сержусь за то, что ты порицаешь род, мною избранный. Я сам о нём то же думаю и хочу его оставить <...>».

### Удел помещика

Год в Каймарах, с лета 1831-го по лето 1832-го (частью прожитый в Казани), был для Евгения Боратынского исключительно напряжённым: он много писал, причём пробовал себя в новых жанрах, ещё больше думал и читал. Поэт словно бы выбирал свой дальнейший творческий путь, и в этом смысле переживал переломное время.

Но и семья, семейные заботы – всё больше забирали его, не давая желанного покоя для творчества. Тесть, Лев Николаевич Энгельгардт, старел, дряхлел, и Боратынскому приходилось чаще прежнего заниматься делами поместья. В конце августа 1831 года Пётр Вяземский в письме к Александру Пушкину передавал шуточные слова Боратынского: «Пишу не для потомства, как Вы предполагаете слишком дружески, но для нижнего земского суда». С Иваном Киреевским Боратынский был ещё доверительней, и, как ни берёт своего друга-философа от мелочей быта, порой досадовал на свою жизнь: «<...> Вот уже месяц, как я в казанской деревне. Сначала похлопотал о хозяйстве, говорил с прикащиками и старостами. У меня тяжёлое дело, толковал с судьями и секретарями. Можешь

себе вообразить, как это весело. Теперь я празден, но не умею ещё пользоваться досугом. Мысль приходит за мыслью, но ни на одной не могу остановиться. Воображение напряжено, мечты его живы, но своевольны, и ленивый ум не может их привести в порядок. Вот тебе моя психологическая исповедь <...>».

Очевидно, и удел помещика оказался для Боратынского ярмом.

Поэту, вообще, необходима полная свобода. Но где ж её взять?.. Не отсюда ли «гипохондрическое расположение духа», о котором он весьма уныло сообщает Киреевскому. Мало того что деревня вдали от столиц и от света и от товарищеского круга, так ещё и никаких писем от друзей...

Кое-как он дождался письма из Москвы от Киреевского: как и предполагал, у друга что-то случилось, потому тот и молчал: «<...> Чувствую, делю твоё положение, хотя не совершенно его знаю. Тёмная судьба твоя лежит на моём сердце. Ежели в некоторых случаях бесполезны советы и даже утешения дружбы, всегда отрадно её участие. Не хочу насиловать твоей доверенности; знаю, что она у тебя в сердце, хотя не изливается в словах, понимаю эту застенчивость чувства, не прошу тебя входить в подробности, но прошу хотя общими словами уведомить меня, каково тебе и что с тобою. Таким образом ты удовлетворишь и любопытству дружбы, и той стыдливой тайне, которую требует другое чувство. Что бы с тобою ни было, ты по крайней мере знаешь, что никто более меня не порадуется твоей радости и не огорчится твоим горем. В этой вере настоящее утешение дружбы. О тебе я думаю с тою же верою, и она пополняет моё домашнее счастье <...>».

Осенью Боратынский получил в Каймарах известие: его младший брат Сергей – по-домашнему Серж – женился на вдове Дельвига, Софье Михайловне. Поэт и здесь проявил свою удивительную деликатность: Софье Михайловне было неловко от этого скорого второго замужества – она не ведала, как к этому отнесётся старый друг её покойного мужа. Боратынский уверил молодую женщину, что будет не меньше любить её как жену брата: «<...> Я горячо желаю сохранить вашу привязанность и вот почему касаюсь вопроса, о котором мне сразу бы запретило говорить пошлое мнение. <...> вы несправедливы ко мне, дорогая Софи, если думаете, будто я упрекаю вас в том, что вы не похоронили свою молодость под вечным трауром, что вы вновь открыли свою душу для надежды, что вы составили счастье моего брата. Ведь нынешнее ваше чувство не имеет своим источником ненависть к тому, кого более нет на свете. Вы дали счастье одному, вы осчастливите другого, это предоставляет вам двойное право на мою привязанность. И это ещё не всё: когда я вновь увижу вас, то не стану натянуто молчать о времени, когда мы познакомились, я не только не присвою себе бесцеремонного права не назвать при вас имени того, кто был первым вашим избранником, но и надеюсь, мы вместе будем лелеять его память. Если чувство, привязывавшее вас к нему, и не было любовью, совершенным сродством, оно, однако же, всегда было достойно уважения, и именно в таком чувстве мы с вами едины. Не стану более говорить о том. Своею откровенностью мне хотелось бы предупредить те бесосновательные мысли, которые всегда порождаются сомнением <...>» (перевод с французского).

Боратынский по-прежнему не в силах взяться за книгу о Дельвиге: рана не затянулась. Лишь через несколько месяцев он сообщает Киреевскому, что принялся писать о друге, но, как видно, работа не заладилась. Если и были какие-то наброски, они до нашего времени не сохранились...

## Стихи, расшевеливающие душу

Не воспоминания ли о молодости вдруг резко потянули его к Николаю Языкову и к его стихам *нараспашку*?.. 16 ноября Боратынский отправил к собрату-поэту, с которым они были давно знакомы, на редкость горячее и задушевное письмо с посланием в стихах:

Языков, буйства молодого  
Певец роскошный и лихой!  
По воле случая слепого  
Я познакомился с тобой  
В те осмотрительные лета,  
Когда смиренная диета  
Нужна здоровью моему,  
Когда и тошный опыт света  
Меня наставил кой-чему,  
Когда от бурных увлечений  
Желанным опытом дыша,  
Для благочинных размышлений  
Созрела томная душа;  
Но я люблю восторг удалый,  
Разгульный жар твоих стихов.  
Дай руку мне; ты славный малый,  
Ты в цвете жизни, ты здоров;  
И неумеренную радость,  
Счастливец, славить ты в правах;  
Звучит лирическая младость  
В твоих лирических грехах <...>.

Вскоре Боратынский получил письмо от Николая Языкова (не сохранилось). По-видимому, там было и стихотворение, посвящённое Ивану Киреевскому, в котором поэт заявил, что его муза пойдёт по *новой дороге* – «И гимн отеческому Богу / Благоговейно запоёт». В ответ Боратынский написал своё второе послание, уже гораздо более обдуманное:

Бывало, свет позабывая  
С тобою, счастливым певцом,  
Твоя Камена молодая  
Венчалась гроздьем и плющом  
И песни ветреные пела,  
И к ней безумна и слепа,  
То увлекаясь, пламенела  
Любовью грубою толпа,  
То, на свободные напевы  
Сердяся в ханжестве тупом,  
Она ругалась чудной девы  
Ей непонятым божеством.



Во взорах пламень вдохновенья,  
 Огонь восторга на щеках,  
 Был жар хмельной в её глазах  
 Или румянец вожделенья...  
 Она высоко рождена,  
 Ей много славы подобает:  
 Лишь для любовника она  
 Наряд менады надевает;  
 Яви ж, яви её скорей,  
 Певец, в достойном блеске миру:  
 Дай диадиму и порфиру;  
 Державный сан её открой,  
 Да изумит своей красотой,  
 Да величавый взор смущает  
 Её злословного судью,  
 Да в ней хулитель твой познает  
 Мою царицу и свою.

Боратынский признавался Языкову: «<...> Только твои стихи расшевеливают мне душу <...>».

А в следующем письме, к И. Киреевскому, он повторил эти слова: «<...> Языков расшевелил меня своим посланием. Оно – прелесть. Такая ясная грусть, такое грациозное добродушие. Такая свежая чувствительность! Как цветущая его муза превосходит наши бледные и хилые! У наших – истерика, а у ней настоящее вдохновение! <...>».

Этот восторг и эта самокритика, пожалуй что чрезмерная, свидетельствуют лишь об одном: Боратынский жаждёт новых стихов, новых напевов и настроений, хотя, возможно, и сам себе не признаётся в этом. Новое созревает исподволь, поначалу обнаруживая себя разве что творческим молчанием или недовольством тем, что написано прежде.

Немногим раньше, в сентябре 1831 года, Боратынский, шутливо чествуя Языкова, заступившего вслед за ним на службу к Богдану Гермесу в Межевую канцелярию, писал:

«<...> Кажется, бог поэтов ныне не Аполлон, но Гермес: кроме тебя и меня, служил у него когда-то Вяземский. Как бы написать ему стихи, в которых хорошенько похвалить его за то, что под его управлением и Межевая канцелярия превратилась в Геликон. Кстати – о стихах: я как-то от них отстал, и в уме у меня всё прозаические планы. Это очень грустно.

Бывало, отрок, звонким кликом  
 Лесное эхо я будил,  
 И верный отклик в лесе диком  
 Меня смятенно веселил.  
 Пора другая наступила,  
 И рифма юношу пленила,  
 Лесное эхо заменя.  
 Игра стихов, игра золотая!  
 Как звуки, звукам отвечая,  
 Бывало, нежили меня!

Но всё проходит. Остываю  
Я и к гармонии стихов –  
И как дубров не окликаю,  
Так не ищу созвучных слов.

Вот единственная пьеса, которую написал я с тех пор, как с тобою расстался, стараясь в ней выразить моё горе. Что ты поделываешь и скоро ли будешь писать стихотворения? Пришли, что напишешь. Это разбудит во мне вдохновение <...>».

Это стихотворение вместе с другим («Не славь, обманутый Орфей...») Боратынский отправил в Петербург Пушкину – для выпуска «Северных цветов» памяти Дельвига. Но Пушкин напечатал только второе стихотворение, исключив первое без всяких объяснений. Похоже, он всё-таки не принял того, что его друг-поэт *остывает к гармонии стихов*. Принял ли Пушкин его уныние за минутный упадок духа, остаётся загадкой: поэты не объяснились по этому поводу, а увиделись не скоро, когда всё, наверное, забылось.

Позже Боратынский обнаружил в своей душе и вовсе необычное чувство, прежде для него совершенно невысказанное:

О, верь: ты, нежная, дороже славы мне <...>

Это стихотворение, обращённое к жене, Настасье Львовне, обычно понимается как высокое признание в любви к подруге жизни. Но не есть ли эти строки – свидетельство того, что поэт ещё больше *отстал от стихов* и готов принести в жертву свою «бунтующую музу»?..

О славе Боратынский прежде, кажется, даже не упоминал. Почему же теперь поэт сказал о ней, да ещё как о второстепенном деле? Может быть, потому, что желание славы преодолено – и так же *отошло*, как сам он от стихов. Он словно бы уже вполне понял суетность и этого – земного в сущности – желания. Он уверовал, что нашёл *друга в поколень* – стало быть, найдётся и *читатель в потомстве*. А коли так – надобно ли что-то ещё?..

«<...> Я не отказываюсь писать; но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение. Я не имею нужды в похвалах (разумеется, черни), но не вижу, почему должен подвергаться её ругательствам <...>» (из письма к И. Киреевскому, ноябрь 1831 года).

А ведь *слава* напрямую зависит от мнения *черни*, – и Боратынский, как никто другой, это понимает. И он знает: публика не может поспеть за развитием поэта, – вот почему он рано или поздно обречён на одиночество...

### Почтовая проза

Письма Боратынского того времени обращены большей частью к И. В. Киреевскому и показывают, как внимательно поэт читает – а скорее, изучает – современную отечественную и зарубежную литературу и как глубоко задумывается о писательском призвании.

Круг его чтения и в деревенской глуши необычайно широк: Пушкин, Жуковский, Вяземский, Языков, Загоскин, Гоголь, Хомяков, Руссо, Гёте, Вильмен, Гизо, Барбье, Бальзак и другие, – и это только те, кто упомянут в письмах.

Боратынский никогда не выступал в печати как литературный критик (если не считать его рецензии на книгу А. Муравьёва), но по его письмам видно, насколько глубоко он чувствует и понимает литературу и как верно о ней судит.

Одним из первых поэт прочёл перевод романа Б. Констана «Адольф», сделанный Вяземским, и заметил князю: «<...> Вы избрали лучшую систему перевода, именно полезнейшую для языка. <...> Я перечитал ваше умное и остроумное предисловие <...>. Вы заставили меня сызнова продумать всё то, что мне внушило первое чтение “Адольфа”. Вы намекаете на недуг душевный, особенный нашему веку, который очень слегка обозначает автор “Адольфа”: он касается его вскользь, а вы, более, нежели он, заставляете его заметить. Этот недуг ещё не вполне им исследован и может быть предметом нового романа. Подумайте; вы, может быть, его напишете. Ещё одно: неужели ничто не врачует развращения чувств, заметного в нашем веке? и точно ли мы хуже наших предков? Я не совсем вдаюсь в современные мечты усовершенствования, но склонен думать, что нет эпохи лучше или хуже другой <...>».

Перечитав «Элоизу» Руссо, он пишет Киреевскому: «<...> Каким образом этот роман казался страстным? Он удивительно холоден. Я нашёл насилие места два трогательных и два или три выражения прямо от сердца. Письма Saint-Preux лучше, нежели Юлии, в них более естественности; но вообще это трактаты нравственности, а не письма двух любовников. В романе Руссо нет никакой драматической истины, ни малейшего драматического таланта. Ты скажешь, что это и не нужно в романе, который не объявляет на них никакого притязания, в романе чисто аналитическом; но этот роман – в письмах, а в слоге письма должен быть слышен голос пишущего: это в своём роде то же, что разговор, – и посмотри, какое преимущество имеет над Руссо сочинитель “Клариссы” <Ричардсон>. Видно, что Руссо не имел в предмете ни выражения характеров, ни даже выражения страсти, а выбрал форму романа, чтобы отдать отчёт в мнениях своих о религии, чтобы разобрать некоторые тонкие вопросы нравственности. Видно, что он писал Элоизу в старости: он знает чувства, определяет их верно, но самое это самопознание холодно в его героях, ибо оно принадлежит не их летам. Роман дурён, но Руссо хорош как моралист, как диалектик, как метафизик, но... отнюдь не как создатель. Лица его без физиономии, и хотя он говорит в своих “Confessions”, что они живо представлялись его воображению, я этому не верю. Руссо знал, понимал одного себя, наблюдал за одним собою, и все его лица Жан-Жаки, кто в штанах, кто в юбке <...>».

Позже поэт вновь продолжает этот разговор с другом, защищаясь от его обвинения в том, что он неумолим в критике Руссо. Боратынский настаивает, что чтением был по-настоящему увлечён и критиковал только лишь роман: «<...> Когда-то сравнивали Байрона с Руссо, и это сравнение я нахожу справедливым. В творениях того и другого не должно искать независимой фантазии, а только выражения их индивидуальности. Оба – поэты самости; но Байрон безусловно предаётся думе о себе самом; Руссо, рождённый с душою более разборчивой, имеет нужду себя обманывать; он морализует и в своей морали выражает требования души своей, мнительной и нежной. В “Элоизе” желание показать возвышенное понятие своё о нравственном совершенстве человека, блистательно разрешить некоторые трудные задачи совести беспрестанно заставляет его забывать драматическую правдоподобность. <...> В составе души Руссо ещё более, нежели в составе его романа, находятся недостатки последнего. “Элоиза” мне нравится менее других произведений Руссо.

Роман, я стою в том, творение, совершенно противоречащее его гению. В то время как в “Элоизе” меня сердит каждая страница, когда мне досаждают даже красоты её, все другие его произведения увлекают меня неодолимо. Теплота его слова проникает мою душу, искренняя любовь к добру меня трогает, раздражительная чувствительность сообщается моему сердцу <...>».

Очевидно, что Боратынский с пристрастием исследует жанр современного романа, явно намереваясь всерьёз заняться прозой. Естественно, он не обходит вниманием и отечественных писателей. Лучшим тогдашним романистом он считал Михаила Николаевича Загоскина, но и его поэт судит с исключительной строгостью. «<...> Мне очень любопытно знать, что ты скажешь о романах Загоскина, – пишет он Киреевскому. – Все его сочинения вместе показывают дарование и глупость. Загоскин – отменно любопытное психологическое явление <...>». А спустя некоторое время возвращается к своим мыслям: «<...> О Загоскине писать что-то страшно. Я вовсе не из числа его ревностных поклонников. “Милославский” его – дрянь, а “Рославлёв”, быть может, ещё хуже. В “Рославлёве” роман ничтожен; исторический взгляд вместе глуп и неверен. Но как сказать эти крутые истины автору, который всё-таки написал лучшие романы, какие у нас есть?»

Как-то Киреевский сообщил Боратынскому, что хочет познакомить его с ярким сочинением писателя из Малороссии. Вскоре в Каймары пришла книга «Вечера на хуторе близ Диканьки», – по-видимому, Николай Гоголь (носивший тогда ещё и фамилию – Яновский) сам прислал ему этот подарок. Боратынский с восторгом отозвался о книге в письме к И. Киреевскому и даже высказал большое желание познакомиться с писателем: «<...> Ещё не было у нас автора с такою весёлою весёлостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский – человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нём виден наблюдатель, и в повести своей “Страшная месть” он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает моё чувство к Яновскому <...>».

Но больше всего Боратынского, конечно, занимало творчество Пушкина. Когда в начале 1832 года он прочёл только что вышедшую 8-ю главу «Евгения Онегина», поэт тут же поделился с Киреевским своим впечатлением. Вначале признался, что в разные времена думал о пушкинском романе в стихах – «разное»: «<...> Иногда мне “Онегин” казался лучшим произведением Пушкина, иногда напротив. Ежели б всё, что есть в “Онегине”, было собственностью Пушкина, то, без сомнения, он ручался бы за гений писателя. Но форма принадлежит Байрону, тон тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано у того и у другого (не понятно, у кого – «другого»? – В. М.). Пушкину принадлежат в Онегине характеры его героев и местные описания России. Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенности. Ленский ничтожен. Местные описания прекрасны, но только там, где чистая пластика. Нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский быт. Вообще это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта человека с большим дарованием. Оно блестящее; но почти всё ученическое, потому что почти всё подражательное. Так пишут обыкновенно в первой молодости из любви к поэтическим формам более, нежели из настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее моё мнение об “Онегине”. Поверяю его тебе за тайну и надеюсь, что оно останется между нами, ибо мне весьма некстати строго критиковать Пушкина. От тебя же утаить настоящий мой образ мыслей мне совестно <...>».

Это мнение, конечно, излишне строго, да и несправедливо, но нельзя не отдать должное искренности Боратынского в разговоре с другом, как и самостоятельности его критической мысли.

Летом 1832 года Боратынский прочитал сказку о царе Салтане и оценил её в том же духе, что и окончание «Онегина»: «<...> Это – совершенно русская сказка, и в этом, мне кажется, её недостаток. Что за поэзия – слово в слово привести в рифмы Еруслана Лазаревича или Жар-птицу? И что это прибавляет к литературному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберём их в одно полное целое, которое настолько бы их превосходило, сколько хорошая история превосходит современные записки. Материалы поэтические иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и по возможности все их обнимающий. Этого далеко нет у Пушкина. Его сказка равна достоинством одной из наших старых сказок – и только. Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Как далеко до этого подражания русским сказкам до подражания русским песням Дельвига! Одним словом, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила <...>».

Чтение, конечно, попутное занятие: главное для Боратынского – писательский труд.

Осенью 1831 года, в Каймарах, он сочинил драму, но остался ею весьма недоволен. Поэт отправил рукопись Киреевскому, который только что создал в Москве свой журнал – «Европеец»: «<...> я ни за что бы тебе её не послал, ежели б не думал, что в журнале и посредством гонится для занятия нескольких листов <...>. Драмату напечатай без имени и не читай её никому как моё сочинение <...>». Когда же Киреевский хорошо отозвался о его произведении, Боратынский ответил, что похвала приводит его в стыд, и поспешил уверить, что это лишь «драматический опыт» и что от своей драмы он «не в отчаянии» только потому, что со временем надеется написать «что-нибудь подельнее»: «Ежели б я вполне следовал своему чувству, я бы поступил с нею, как ты поступаешь с некоторыми из своих творений, то есть бросил бы в печь. Кстати: я не нахожу тебя в этом отменно благоразумным. Во-первых, не мне быть судьёю в собственном деле; во-вторых, каждый принимающийся за перо, поражён какою-либо красотой, следственно, и в его творении, как бы оно ни поддавалось критике, наверно есть что-нибудь хорошее. Что ж касается до совершенства, оно кажется не дано человеку, и мысль о нём может скорее охладить, нежели воспламенить писателя. Это думает и Жуковский, который советует беречься

От убивающия дар

Надменной мысли совершенства <...>».

Киреевский, однако, не согласился с тем, что драма никудашняя, и, видимо, привёл автору свои доводы (увы, все письма Киреевского утрачены). Но Боратынский ответил ему, что тот разбирает драматическую попытку серьёзнее, чем она того стоит: «<...> Я учился форме и думал более расположить сценами анекдоты, нежели написать настоящую драму. Я выбрал ничтожный предмет для того, чтобы ученическим пером не испортить хорошего <...>».

Журнал Киреевского вскоре был закрыт – и текст драмы затерялся...

Тогда же Боратынский написал и свою повесть «Перстень». К этому своему творению он был более благосклонен и даже велел поставить имя сочинителя, однако и «Перстень», по-видимому, считал не больше, чем прозаическим опытом: «<...> всё это посредственно, но для журнала годится».

Поэт признаётся другу, что у него готов план новой поэмы, «со всех сторон обдуманной». О том же самом он пишет в январе 1832 года его матери, Авдотье Петровне Елагиной: «<...> У меня в голове поэма; но я ещё не принимался: продолжительный труд пугает мою лень».

Конечно, дело не в лени и не в хозяйственных хлопотах: что-то иное, гораздо более значительное мешает ему приняться за поэму и, конечно, оно связано с творческими задачами.

Однако по прошествии времени оказалось, что ни поэма, ни новая драма, ни задуманные повести не были написаны. Даже неизвестно, набрасывал ли что-то Боратынский вчера...

## Глава двадцатая НА ИЗМЕНЧИВОЙ ЗЕМЛЕ

### Русский «Европеец»

О намерении Ивана Киреевского издавать свой журнал Боратынский узнал осенью 1831 года в Каймарах. Он был «истинно обрадован» и заверил друга, что готов быть ему непререкаемым и усердным сотрудником – «<...> тем более что всё меня клонит к прозе». Обещал *доставить* две-три повести в год и помогать живо вести полемику...

Двадцатипятилетний Киреевский был в ту пору, несмотря на молодость, одним из крупнейших русских мыслителей. Он принадлежал, по определению А. С. Хомякова, к числу людей, принявших на себя подвиг освобождения русской мысли от суеверного поклонения мысли других народов. Ещё в 1827 году Киреевский писал своему другу А. И. Киселёву: «Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотой слога». В конце 1829 года Киреевский решил ехать в Германию, чтобы продолжить своё философское образование. В канун этой поездки он написал статью в альманахе «Денница», в которой ясно и твёрдо определил задачу всей своей жизни:

«Нам *необходима* философия: всё развитие нашего ума требует её. Ею одною живёт и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целостность нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займёт от неё изящество стройности. Но откуда придёт она? <...>

*Наша* философия должна развиваться из *нашей* жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов *нашего* народного и частного быта».

По мнению Киреевского, лучшие достижения европейского просвещения станут колыбелью русской образованности:

«<...> Как младшая сестра в большой, дружной семье, Россия прежде вступления в свет богата опытностью старших. <...>

Совместное действие важнейших государств Европы участвовало в образовании начала нашего просвещения, приготовило ему характер общеевропейский и вместе дало возможность будущего влияния на всю Европу.

К той же цели ведут нас гибкость и переимчивость характера нашего народа, его политические интересы и самое географическое положение нашей земли.



Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупности всех других; судьба России зависит от одной России.

Но судьба России заключается в её просвещении: оно есть условие и источник *всех* благ. Когда же эти *все* блага будут *нашими* – мы ими поделимся с остальной Европою и весь долг наш заплатим ей сторицею».

С начала 1830 года Киреевский – в Германии. В Берлине он лично знакомится с Гегелем и слушает его лекции по истории философии. В Мюнхене посещает Шеллинга и присутствует на его занятиях с учениками по натуральной философии, физиологии и новейшей истории искусств. Там же в Мюнхене Иван Киреевский с братом Петром, будущим знаменитым собирателем русских народных песен, побывал в гостях у поэта и дипломата Фёдора Тютчева.

По возвращении в Россию Иван Киреевский и решил издавать свой «журнал наук и искусств», испросив *благословения* у Василия Андреевича Жуковского. Поначалу философ хотел, чтобы русская литература только бы дополняла в его журнале литературу европейскую. «<...> и с каким наслаждением, – писал он к Жуковскому, – мог бы я говорить об Вас, о Пушкине, о Баратынском, об Вяземском, об Крылове, о Карамзине – на страницах, не запачканных именем Булгарина». Однако вышло так, что уже в первом номере «Европейца» основное внимание получила отечественная литература, а европейская – стала дополнением к ней.

Боратынскому название журнала не понравилось: он советовал Киреевскому выбрать другое, ничего не значащее и заранее не определяющее никаких притязаний. Впрочем, затею друга он одобрил и признался: «<...> Твой журнал очень возбуждает меня к деятельности».

В октябре в Каймарах у него родилась дочь. Ей дали имя в честь Марии Андреевны Панчулидзевой, его тётушки и крестной матери. На «дружеское поздравление и милые шутки» Киреевского поэт отвечал, что в год рождения Машеньки непременно должен явиться в свет и «Европеец», а когда дочке исполнится двенадцать лет и она будет в состоянии слушать лекции друга-философа, тот просто обязан позаботиться о её просвещении.

Их переписка отнюдь не ограничивалась делами литературными – порой речь заходила даже о светской жизни: суждения Боратынского и тут отличались глубиной и меткостью:

«Со мною сто раз случалось в обществе это тупоумие, о котором ты говоришь. Я на себя сердился, но признаюсь, в хорошем мнении о самом себе: не упрекал себя в глупости, особенно сравнивая себя с теми, которые отличаются этою на­мётанностию, которой мне недоставало. Чтобы тебя ещё более утешить в твоём горе (горе я ставлю для шутки), скажу тебе, что ни один смертный так не блистал в *petits jeux* и особенно в *secretair*, как Василий Львович Пушкин и даже брат его Сергей Львович. Сей последний, на вопрос: *Quelle difference y a-t-il entre m-r Pouchkine et le soleil?* – отвечал: *Toux les deux font faire le grimace.* < Каково различие между г-ном Пушкиным и солнцем? – От того и другого шуришься >. Впрочем, говорить нечего, хотя мы заглядываем в свет, мы – не светские люди. Наш ум иначе образован, привычки его иные. Светский разговор для нас учёный труд, драматическое создание, ибо мы чужды настоящей жизни, настоящих страстей светского общества. Замечу ещё одно: этот *laisser aller* <непринуждённость>, который делает нас ловкими в обществе, есть природное качество людей ограниченных. Им даёт его самонадеянность, всегда нераздельная с глупостию.

Люди другого рода приобретают его опытом. Долго сравнивая силы свои с силами других, они, наконец, замечают преимущество своё и дают себе свободу не столько по чувству собственного достоинства, сколько по уверенности в ничтожности большей части своих совместников <...>».

Не менее точно судил поэт и о делах журнальных, проявляя при этом изрядную сметку:

«<...> Я читал твоё объявление: оно написано как нельзя лучше, и я тотчас узнал, что оно твоё. Ты истолковал название журнала и умно и скромно. Но у нас не понимают скромности, и я боюсь, что в твоём объявлении не довольно шарлатанства для приобретения подписчиков <...>».

Он подсказывал Киреевскому и темы новых статей: так, просил его написать о Шеллинге и «других отличных» людях Германии, чтобы познакомить с ними читающую публику.

Первый номер «Европейца» вышел в конце 1831 года. Поскольку литературных журналов в то время было совсем немного: в Москве выходили «Московский телеграф» Н. Полевого и «Телескоп» Н. Надеждина, а в Петербурге – «Северная пчела» Ф. Булгарина, – новый журнал сразу привлёк внимание писателей и читающей публики.

Открывался «Европеец» программной статьёй Ивана Киреевского «Деятнадцатый век», в которой философ определял дух нового времени как в области мысли, где на смену французского материализма пришёл немецкий идеализм, так и в области литературы, где романтизм занял место классицизма. Автор затронул и вопросы веры, отметив, что атеизм Вольтера отжил своё и религия вновь завоевывает сердца. Киреевский отводил особую роль просвещению России: он мечтал разрушить «Китайскую стену» между Россией и Европой, чтобы освоить западноевропейское просвещение. По его мысли, русское просвещение должно отнюдь не подражать западным образцам, а обогатиться за счёт достижений европейской культуры, органически вобрав её в себя. «<...> Там, где *обще-Европейское* совпадает с нашею *особенностью*, там рождается истинно-Русское, образованно-национальное, твёрдое, живое, глубокое и богатое благотворными последствиями», – писал Киреевский.

Боратынский назвал первый номер «Европейца» *великолепным* – и выразил уверенность в успехе журнала. В этом номере вышла его элегия «В дни безграничных увлечений...»; там же напечатано начало обзора Киреевского, где важнейшими явлениями отечественной поэзии 1831 года названы «Борис Годунов», «Наложница» и «Баллады и повести» Жуковского. Боратынский снова дал издателю дельный совет: «Мне кажется, надо задрать журналистов, для того чтобы своими ответами они разгласили о существовании оппозиционного журнала. Твоё объявление было слишком скромно. Скажи, много ли у тебя подписчиков. Напечатай в московских газетах, какие и какие статьи помещены в 1-м № «Европейца». Это будет тебе очень полезно <...>».

К тому времени Боратынский с семьёй переехал в Казань. Они с женой отдавали визиты, и поэт очень скучал этой ритуальной рутинной: «Знакомлюсь с здешним обществом, не надеясь найти в этом никакого удовольствия. Нечего делать: надо повиноваться обычаю, тем более что обычай по большей части благоразумен. Я гляжу на себя, как на путешественника, который проезжает скучные, однообразные степи. Проехав, он с удовольствием скажет: я их видел <...>».

Казань поначалу показалась ему *оживлённее* Москвы: не то чтобы приятнее, но – деятельнее. Разговоры в гостиных порой были даже занимательны: бойко обсуждались местные дела и было заметно, что всякий из собеседников стремился к *положительной цели*, проявляя в спорах и свой норов. «<...> Не могу тебе развить всей моей мысли, – писал поэт к Киреевскому, – скажу только, что в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему, которое составляет характер большей части наших московских знакомцев. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов политических и поэтических. Всмотрясь внимательнее в общество, я, может быть, напишу что-нибудь о нём для твоего журнала; но я уже довольно видел, чтобы местом действия русского романа всегда предпочесть губернский город столичному. Хвалю здесь твоего “Европейца”; не знаю только, заставят ли мои похвалы кого-нибудь на него подписаться. Здесь выписывают книги и журналы только два или три дома и ссужают ими потом своих знакомых <...>».

Боратынские прожили в доме Энгельгардта в Казани всю зиму.

У поэта появились новые знакомства: любительница литературы и хозяйка салона А. А. Фукс, известный математик Н. И. Лобачевский, историк Н. С. Арцыбашев – автор критических разборов «Истории государства Российского» Карамзина, литератор Э. П. Перцов.

Прошло немного времени, и провинциальная Казань невероятно наскучила Боратынскому: пребывание здесь показалось ему новым *изгнанием*. Лишь с молодым поэтом и драматургом Эрастом Перцовым, стихотворные шалости которого хвалил друзьям Пушкин, Боратынский, по его признанию, говорил своим натуральным языком, – общение с остальными не позволяло ему быть вполне свободным и естественным. «Страшный» Арцыбашев, хоть и оказался в разговоре приличнее, нежели в печати, выше хронологических чисел ничего не видел в истории. Жена ректора Казанского университета Александра Андреевна Фукс донимала Боратынского разговорами о литературе и, пуще того, чтением своих самодельных стихов. Этой сочинительнице знали цену и в Казани: в частной переписке осталась такая картинка: математик Лобачевский читает стихи m-me Fuks, то и дело давясь хохотом, а почётный гость литературного салона поэт Боратынский сидит с потупленными глазами. Когда казанская поэтесса ещё и сочинила послание к Боратынскому, тот оказался в крайне неловком положении. В письме к И. Киреевскому (май 1832 года) есть небольшая приписка: «<...> Что подельывает Языков? Этот лентяй из лентяев пишет ли что-нибудь? прошу его пожалеть оно мне: одна из здешних дам, женщина степенных лет, не потерявшая ещё притязаний на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которые я должен отвечать».

*Должен...* светская дань в рифму, конечно, была самой тягостной...

Ответное послание Боратынского тоже написано – *без меры*, таким пышным и льстивым слогом, будто бы сочинял кто-то другой. «Власы роскошные», «обворочительное лицо», «В душе довольной красоты / Затрепетало вдохновенье!»...

Прекрасный, дивный миг! Возликовал Парнас,  
Хариту, как сестру, камни окружили,  
От мира мелочей вы взоры отвратили:  
Открылся новый мир для вас <...> и пр.

Конечно же, Боратынский знал цену виршам хозяйки салона не хуже её казанских знакомых. Уж не пародия ли – его послание? Другого ведь просто представить невозможно!..

Осенью 1833 года Александр Пушкин заглянул в Казань по дороге в Оренбург. Разумеется, и он был гостем А. А. Фукса... В Москву к жене полетело письмо: «Баратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил её красоту и гений».

В январе 1832 года вышел второй номер «Европейца», – и он ещё больше понравился Боратынскому, назвавшему его *бесподобным*: «Мысли, образ выражения, выбор статей, всё небывалое в наших журналах со времён “Вестника Европы” Карамзина, и я думаю, что он будет иметь столько же успеха, как сей последний, ибо для своего времени он имеет все достоинства, которые тот имел для своего <...>. О слоге Вильмена статья прекрасная. Нельзя более сказать в меньших словах с такую ясностью, с таким вкусом, с такую правдою. Разбор “Годунова” отличается тою же верностию, тою же простотою взгляда. Ты не можешь себе представить, с каким восхищением я читал просвещённые страницы твоего журнала, сам себе почти не веря, что читаю русскую прозу, так я привык почерпать подобные впечатления только в иностранных книгах <...>».

Пушкин тоже был в восторге от двух первых выпусках журнала и в письме к Ивану Киреевскому пожелал изданию многие лета: «До сих пор наши журналы были сухи и ничтожны или дельны, да сухи; кажется, “Европеец” первый соединит дельность с заманчивостью. <...> Ваша статья о “Годунове” и о “Наложнице” порадовала все сердца; насилу-то дождались мы истинной критики».

Пушкин выразил надежду, что журнал разбудит бездействие Боратынского, о лирике которого он вновь высоко отозвался.

Впрочем, были у Пушкина и замечания к журналу: он посоветовал Киреевскому избегать учёных терминов, переводя их на русский: «<...> это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчеству языку».

Отдельные замечания высказали издателю и Жуковский с Вяземским, в целом горячо одобрившие журнал. Однако Боратынский не согласился с критикой своих товарищей: «<...> Принаравливаясь к публике, мы её не подвинем. Писатели учат публику, и ежели она находит что-нибудь в них непонятное, это вселяет в неё ещё более уважения к сведениям, которых она не имеет, заставляет её отыскивать их, стыдясь своего невежества <...>». Он заметил, что статья Киреевского о 19-м веке непонятна лишь там, где речь заходит о философии, зато выводы литературные отменно ясны даже для тех, кто не силён в таинствах новейшей метафизики. «Не знаю, поймёшь ли ты меня; но таков ход ума человеческого, что мы прежде верим, нежели исследуем, или, лучше сказать, исследуем для того только, чтобы доказать себе, что мы правы в нашей вере. Вот почему я нахожу полезным поступать как ты, то есть знакомить своих читателей с результатами науки, дабы, заставив полюбить оную, принудить заняться ею <...>».

Между тем, пока писатели восторгались журналом и мечтали сделать его ещё лучше, в Третьем отделении Его Императорского Величества канцелярии подготовили доклад о статье Киреевского «Девятнадцатый век». Мысли философа нашли либеральными, статью – политической, недопустимой в печати. Сугубая строгость властей объяснялась недавней Июльской революцией во Франции и восстанием в Польше, а также общим революционным настроением в Европе. Документ лёг на стол государю, и тот повелел закрыть журнал «Европеец». По Москве поползли

слухи, что Киреевского отправят в крепость, а цензора Аксакова – на гауптвахту.

В феврале стало известно о решении Московского цензурного комитета: на С. Т. Аксакова наложено *законное взыскание* – «<...> и дабы издание оногo журнала было на будущее время воспрещено, так как издатель оногo г. Киреевский обнаружил себя человеком не благомыслящим и не благонадёжным». Цензор лишился работы – Киреевский остался с неизданной третьей книжкой журнала...

В марте 1832 года Боратынский в Каймарах получил от Киреевского письмо с этим печальным известием. Ответ его полон горечи:

«Я приписывал молчание твоё недосугу и не воображал ничего неприятного; можешь себе представить, как меня поразило письмо твоё <...>. От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Нет сомнения, что тут действовал тайный, подлый и несправедливый доносчик. Но что в этом утешительного? Где найти на него суд? Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру, и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным. Поблагодарим Провидение за то, что оно нас подружило и что каждый из нас нашёл в другом человека, его понимающего, что есть ещё несколько людей нам по уму и по сердцу. Заключимся в своём кругу, как первые братья христиане, обладатели света, гонимого в своё время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая. Может быть, придёт благопоспешное время <...>».

Чуть позже Боратынский попытался утешить друга: «<...> Много минут жизни, в которых нас поражает её бессмыслица: одни почерпают в них заключения, подобные твоим, другие – надежду другого, лучшего бытия. Я принадлежу к последним <...>».

Мать Киреевского, Авдотья Петровна Елагина, в письме к Жуковскому сообщала, что Иван всё никак не умеет опомниться и сладить с собою. Немудрено: его заветное дело рухнуло, едва начавшись. Киреевский уехал в деревню, чтобы наконец прийти в себя. Сохранилось его письмо той поры к Александру Кошелеву:

«Вечер славный: и свежо и тепло вместе; я сижу под окном; на окне чай, который я пью, как пьяница, понемногу, с наслаждением, с сладострастием; в одной руке трубка, в другой перо – и я пишу, как пью чай, с роздыхом, с турецкою негою лени: хорошо и *мягко* жить на эту минуту! Какая-то музыка в душе, беспричинная, *Эолова* музыка, не связанная ни с какою мыслию. Зачем неспособен я верить! <...>»

Историю с запрещением «Европейца» обычно толкуют как трагедию в жизни Ивана Киреевского, пострадавшего от произвола и тирании императора. Однако русский философ Н. П. Ильин посчитал, что Николай I спас Киреевского. Не случись закрытия «Европейца», «<...> мы знали бы сегодня совсем другого Киреевского», скорее всего – *второго Чаадаева*. «Своё твёрдое слово сказал Николай I – и Киреевский был спасён им как “национальный мыслитель”», – пришёл к выводу Н. П. Ильин.

Действительно, в последующие годы из увлечённого *западника* Иван Васильевич превратился в убеждённого *славянофила* (о его духовном перерождении чуть позже).

Николай Калягин обращает внимание на то, что 1832 год – это не только год запрещения «Европейца»: «В 1832 году был опубликован ещё исторический акт, провозгласивший Православие, Самодержавие и Народность основами русского государственного строя. С этого акта только и начинается у нас разделение мысля-



щих людей на “западников” и “славянофилов”, только и начинается история самостоятельной русской мысли <...>. Калягин перечисляет тех, кто *справился* с взыскательной и строгой – *отеческой* – любовью государя к своим *детям*: Пушкин и Гоголь, Боратынский и Киреевский, Лермонтов и Толстой, Достоевский и Аполлон Григорьев, Жуковский и Крылов, С. Аксаков и Даль, Тютчев и Вяземский и многие другие. (Были и те, кто не *справился*: погиб Полежаев, «сломался» Н. Полевой...):

«<...> Золотой век русской литературы – век Николая I. Настоящее место этого царя во всемирной истории где-то неподалёку от Перикла, Августа Октавиана и Людовика XIV».

### Преодолевая недуг бытия

Творческие поиски и возникшая склонность к прозе лишь слегка отразились в стихах Боратынского начала 1830-х годов. Всё это проявилось в балладе «Мадона», повествующей о неизвестной картине Корреджо – «Корреджия», спасшей от голодного прозябания бедную итальянскую семью. Собственно, это притча о вере, о небесной награде за стойкость и чистоту своих убеждений.

«Охота рифмовать легенды», о которой Боратынский написал в январе 1832 года Киреевскому, возникла у поэта, когда он прочитал новую книгу баллад Жуковского: «<...> В некоторых необыкновенное совершенство слова и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях <...>».

Однако вряд ли Боратынский был доволен своим новым по жанру творением: как и в случае со стихотворной стилизацией, на манер Дельвига, русской песни («Песня», 1821), опыт с написанием баллады был первым и последним. Боратынский привык совсем к другому – к свободному дыханию и пространству элегии, к лаконизму и афористической точности своей философской лирики, – в тесноте и скованности сюжетной поэзии ему было не по себе. Поэт остался верен своему прежнему лирическому настрою...

В элегии «Есть милая страна, есть угол на земле...» (1832), навеянной подмосковной усадьбой Мураново, он словно бы угадывает будущий *счастливый дом* своей всё возрастающей семьи, где царят дружба и счастье и где бы он никогда не «охладел сердцем», даже в старости глубокой. А в элегии «Запустение» (осень 1832 года), в предчувствии будущего *счастливого дома*, – прощается с домом детства, своим *заглохшим Элизеем* – вотчиной в тамбовской Маре. Прощается с тенью отца – его духом, который пророчит ему страну *несрочной весны*, где не заметишь следов разрушения, где не вянут тенистые дубровы и не скудеют свежие ручьи, – страну желанной и вечной встречи...

(Почти через два века поэт Иосиф Бродский назвал эту элегию лучшим стихотворением русской поэзии: «<...> В “Запустении” всё гениально: поэтика, синтаксис, восприятие мира».)

Как ни упорядочена любовью, лаской и покоем его семейная жизнь, Боратынского по-прежнему не оставляет непреодолимый *недуг* бытия:

Когда исчезнет омраченье  
Души болезненной моей?  
Когда увижу разрешенье



Меня опутавших сетей?  
 Когда сей демон, наводящий  
 На ум мой сон, его мертвящий,  
 Отыдет, чадный, от меня  
 И я увижу луч блестящий  
 Всеозаряющего дня?  
 Освобожусь воображеньем,  
 И крылья духа подыму,  
 И пробуждённым вдохновеньем  
 Природу снова обниму?

Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?  
 Увижу ль снова ваши сени,  
 Сады поэзии святой?  
 Увижу ль вас, её светила?  
 Вотще! я чувствую: могила  
 Меня живого приняла  
 И, лёгкий дар мой удушая,  
 На грудь мне дума роковая  
 Гробовой насыпью легла.

(1832)

Поэт пытается заговорить это *омраченье*, убеждая самого себя тем, что происходит в мире природы, где всё заведено по установленному порядку и вовек незыблемо:

К чему невольнику мечтания свободы?  
 Взгляни: безропотно текут речные воды  
 В указанных берегах, по склону их русла;  
 Ель величавая стоит, где возросла,  
 Невластная сойти. Небесные светила  
 Назначенным путём неведомая сила  
 Влечёт. Бродячий ветер не волен, и закон  
 Его летучему дыханью положён.  
 Уделу своему и мы покорны будем,  
 Мятежные мечты смирим иль позабудем;  
 Рабы разумные, послушно согласим  
 Свои желания со жребием своим –  
 И будет счастлива, спокойна наша доля <...>.

Но тут же словно спохватывается:

Безумец! не она ль, не вышняя ли воля  
 Дарует страсти нам? и не её ли глас  
 В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас  
 Жизнь, в сердце бьющая могучею волною  
 И в грани узкие втеснённая судьбою.

(1832)

Но случаются в этом тягостном помрачении и минуты просветления – и они дарят его высоким и мудрым откровением, рождая поэтический шедевр:

Наслаждайтесь: всё проходит!  
То благой, то строгий к нам,  
Своенравно рок приводит  
Нас к утехам и бедам.  
Чужд он долгого пристрастья:  
Вы, чья жизнь полна красоты,  
На лету ловите счастья  
Ненадёжные часы.

Не ропщите: всё проходит  
И ко счастью иногда  
Неожиданно приводит  
Нас суровая беда.  
И веселью и печали  
На изменчивой земле  
Боги праведные дали  
Одинакие криле.

(1832)

В этих стихах дышит какое-то новое состояние духа, высокая отрешённость от бед и печалей жизни. Сила рока, мучительный *недуг бытия* тут преодолены поэтом. Простые истины, обычные слова... и только в последних строках, писанных старым слогом, светится древнее смирение. Архаика языка выявляет глубины времени; *всё проходит и пройдёт*, кроме этого закона жизни...

Впоследствии это стихотворение стало одним из любимейших у «друга в потомстве» – Александра Блока, по складу души и по глубине переживаний очень близкого Евгению Боратынскому.

Любил Блок и другое стихотворение Боратынского, написанное чуть раньше, – удивительно ясное по духу и стройное по выражению чувства и мысли:

В дни безграничных увлечений,  
В дни необузданных страстей  
Со мною жил превратный гений,  
Наперсник юности моей.  
Он жар восторгов несогласных  
Во мне питал и раздувал,  
Но соразмерностей прекрасных  
В душе носил я идеал:  
Когда лишь праздников смятенья  
Алкал безумец молодой,  
Поэта мерные творенья  
Блистали стройной красотой.

Страстей порывы утихают,  
Страстей мятежные мечты

Передо мной не затмевают  
 Законов вечной красоты;  
 И поэтического мира  
 Огромный очерк я узрел,  
 И жизни даровать, о лира!  
 Твоё согласие захотел.

(Осень 1831)

Мысли о спасительной силе поэзии не покидают его в эти годы.

Друзей всё меньше и они далеко, общаться с ними можно лишь заочно, – в деревне Боратынский не пропускает ни одной почты, чтобы не отправить с нею нового письма. То ли дело было в Москве, когда за философическими мечтами и литературными спорами они засиживались с Киреевским далеко за полночь!..

Помещичий быт затягивает в своё болото. «<...> Сейчас я очень занят сельским управлением <...>. Можешь вообразить, какого напряжения нервов мне это стоит <...>», – пишет он своей любимице, Сонечке Энгельгардт, младшей сестре жены (*перевод с французского*). В стихотворных черновиках появляются хозяйственные записи: «1-е. Нужно выбрать хорошего старосту, знающего поля и порядочного. 2-е. Распланировать место для дома и амбара хлебного и начать работать амбар. 3-е. Гумно по выбранному месту по сходе снега окапывать <...>» и пр. Будучи натурой цельной, Боратынский не мог чем-нибудь заниматься вполсилы, – и вот он заметил за собой *новое*: «<...> Я ехал в деревню, предполагая найти в ней досуг и беспечность, но ошибся. Я принуждён принимать участие в хлопотах хозяйственных: деревня стала вотчиной, а разница между ними необъятна. Всего хуже то, что хозяйственная деятельность сама по себе *увлекательна* (выделено мной. – В. М.); поневоле весь в неё вдаёшься <...>» (из письма к И. В. Киреевскому, август 1833 года).

Стихи уже не раз спасали Боратынского в жизни – и в передрыгах юности, и в неволе среди финских скал, и после, когда его одолевал болезненный дух. И наконец, вполне осознав эту благодатную силу поэзии, он выразил в чеканных, молитвенных по духу стихах свою давнюю благодарность:

Болящий дух врачует песнопенье.  
 Гармонии таинственная власть  
 Тяжёлое искупит заблужденье  
 И укротит бунтующую страсть.  
 Душа певца, согласно излитая,  
 Разрешена от всех своих скорбей;  
 И чистоту поэзия святая  
 И мир отдаст причастице своей.

(1832)

Сходные мысли он уже прежде высказывал прозой в письме к П. А. Плетнёву, но, как всегда у Боратынского, поэтическая формула предельно точна, афористична и благоуханна слогом.

Это замечательное стихотворение, как и многие другие его произведения, показывают, что вначале у Боратынского – м ы с л ь. Разумеется, это не значит, что его

чувство спит: такого и не может быть у поэта. Но мысль, определяя чувство, словно призывает к себе вдохновение – и требует выразить себя в поэтическом слове.

Недаром, по-видимому, буквально следом за этим прекрасным стихотворением Боратынский написал полушутливую, но и вполне серьёзную миниатюру:

О мысль! Тебе удел цветка:  
Он свежий манит мотылька,  
Прельщает пчёлку золотую,  
К нему с любовью мошка льнёт  
И стрекоза его поёт;  
Утратил прелесть молодую  
И чередой своей поблэк –  
Где пчёлка, мошка, мотылёк?  
Забыт он роем их летучим,  
И никому в нём нужды нет;  
А тут зерном своим падучим  
Он зарождает новый цвет.  
(1832)

По мнению И. Бродского, «<...> стихи Боратынского самые умные из всех написанных по-русски в его веке <...>».

Это, конечно, спорное суждение и отнюдь не лишённое полемического задора. Другое замечание Бродского более предметно:

«Мысль в самом деле отличает стихи Боратынского, в России никогда не было более аналитического лирика... Его стихотворения – это развязки, заключения, постскрипты к уже имевшим место жизненным или интеллектуальным драмам, а не изложение драматических событий, зачастую скорее оценка ситуации, чем рассказ о ней».

Со времён «Наложницы» эпическая тяга Боратынского пошла на убыль, пока вовсе не иссякла. Обдуманная новая поэма так и осталась *в голове*. А лирические стихотворения в последние годы писались у него редко...

30 мая 1832 года он сообщает Киреевскому: «<...> Это время я писал всё мелкие пьесы. Теперь у меня их пять, в том числе одна, на смерть Гёте, которою я больше доволен, чем другими. Не посылаю тебе этого всего, чтоб было что прочесть, когда увидимся. Извини мне это Хвостовское чувство <...>».

К началу 1830-х годов Боратынский глубоко проникся философией Шеллинга: наверное, сказалось влияние Ивана Киреевского, их горячие споры и беседы «с восьми вечера до четырёх утра» в Москве, обмен мыслями в переписке. Впрочем, это воздействие философа на эволюцию взглядов поэта не стоит преувеличивать: Боратынский и сам неустанно развивался как мыслитель и, естественно, его мировоззрение менялось. Тут скорее речь о том, что его понимание жизни, природы и человека с годами приблизилось к идеям натурфилософов. Однако он, без сомнения, с огромным интересом впитывал то, что ему проповедовал Киреевский, – не потому ли однажды в письме поэт словно бы шутя попросил друга указать на возможные *ереси против немецкого правоверия* в своих стихах. В одной из статей Киреевский зорко подметил, что Боратынский и Пушкин, «начав своё развитие мнениями французскими, довершили его направлением Европейским, сохранив французского одну dokonчанность внешней отделки».

По мнению филолога И. Семенко, Боратынский не только хорошо знал, но и «взял на вооружение немецкую идеалистическую философию», творчески разрабатывая в стихах идеи о гармоническом единстве природы и человеческой души, о рассудке и интуиции, о противоположности «первобытного» и «цивилизованного» человека. Даже некоторые термины из лексикона «любомудров», такие как «стройность», «соразмерность», стали образами его стихов («Когда исчезнет омраченье...»). И. Семенко подчёркивает: «До сближения с “любомудрами”, до знакомства с натурфилософией в лирике Баратынского не была поставлена проблема “человек и мироздание”. Поэт сделал серьёзную попытку принять гармонизирующие мир шеллингианские идеи. Но в то же время, отталкиваясь от шеллингианских теорий, он вступил с ними в полемику поистине философского масштаба <...>».

Одно из самых значительных произведений 1832 года – «На смерть Гёте» – глубоко связано с шеллингианской идеей противопоставления мира «явлений» и мира «сущностей». Это стихотворение – торжественная и благодарная песнь творческому духу, мысли и «сердцу» *великого старца*, совершившего «в пределе земном всё земное»:

<...> Погас! но ничто не оставлено им  
 Под солнцем живых без привета;  
 На всё отозвался он сердцем своим,  
 Что просит у сердца ответа;  
 Крылатою мыслью он мир облетел,  
 В одном беспредельном нашёл он предел.

Всё дух в нём питало: труды мудрецов,  
 Искусств вдохновенных созданья,  
 Преданья, заветы минувших веков,  
 Цветущих времён упованья.  
 Мечтою по воле проникнуть он мог  
 И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:  
 Ручья разумел лепетанье,  
 И говор древесных листов понимал,  
 И чувствовал трав прозябанье;  
 Была ему звёздная книга ясна,  
 И с ним говорила морская волна <...>.

Критика осталась равнодушной к этому стихотворению: «Московский телеграф» сравнил стихи с «выдохнувшимися цветами», с «образами без жизни»; а Н. Надеждин в «Телескопе» небрежно похвалил за «мысли, не так часто встречающиеся <...> в произведениях певца *Эды* и *Наложницы*». Лишь В. Белинский с истинным уважением оценил две последние строфы из приведённого отрывка: «В этих двенадцати стихах Баратынского о Гёте заключается высший идеал человеческой жизни и всё, что можно сказать о жизни внутреннего человека».

Наверное, именно таким в начале 1830-х годов Боратынскому и виделся идеал поэта. Филолог Е. Лебедев подметил, что в стихотворении на кончину Гёте

Боратынским *впервые* собраны воедино основные мотивы его лирики: «<...> и познание мировой сущности, и духовная свобода, и “идеал соразмерностей прекрасных”, <...> и вопрос об оправдании человека перед “вышними силами” и “вышних сил” перед человеком <...>». Вряд ли это было сделано намерено, – но и случайного тут ничего нет: в творческой судьбе И.-В. Гёте поэт невольно выразил и самого себя, свою поэтическую душу.

Изведен, испытан им весь человек! <...>

Несомненно: всё то, что осуществил Гёте, является целью и самого Боратынского, – и он устремлён к ней всею силой своего духа, всей своей интуицией и всем своим талантом: недаром эта строка оканчивается восклицанием. Достичь цели можно лишь бесстрашно исследуя собственную душу. Но Боратынский, быть может, способен на такую отвагу и на тяжкий труд самопознания, как никто другой.

И ежели жизнью земною  
Творец ограничил летучий наш век  
И нас за могильной доскою,  
За миром явлений, не ждёт ничего:  
Творца оправдает могила его.

И если загробная жизнь нам дана,  
Он, здешней вполне отдышавший  
И в звучных, глубоких отзвуках сполна  
Всё дольное долу отдавший,  
К предвечному лёгкой душой возлетит,  
И в небе земное его не смутит.  
(Апрель – май 1832)

Боратынский одинаково готов к любой загробной участи – лишь бы здесь, на земле, отдать «всё дольное – долу» и оправдаться перед вечной смертью или же перед вечной жизнью.

И, разумеется, это оправдание невозможно для него – без спасительной мощи поэзии...

### Меж вдохновением и счастьем

С Киреевским он делится самыми заветными размышлениями:

«<...> Что ты мне говоришь о Hugo и Barbier заставляет меня, ежели можно, ещё нетерпеливее желать моего возвращения в Москву. Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещённого фанатизма: это, как я вижу, явилось в Barbier. Но вряд ли он найдёт в нас отзыв. Поэзия веры не для нас. Мы так далеко от сферы новой деятельности, что весьма неполно её разумеем и ещё менее чувствуем. На европейских энтузиастов мы смотрим почти так, как трезвые на пьяных, и ежели порывы их иногда понятны нашему уму, они почти не увлекают сердца. Что для них действительность, то для нас отвлечённость. Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм – наше



законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и ещё не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покаместь наше назначение. Может быть, мы и вздумаем подражать, но в этих систематических попытках не будет ничего живого, и сила вещей поворотит нас на дорогу, более нам естественную <...>».

А Петру Вяземскому сообщает, что ничего нового не пишет и «возится» со старым. «Я продал Смирдину полное собрание моих стихотворений. Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой ещё не созрело <...>».

«Не прибавлю...» – книг? стихов?..

При всей своей выдержке он не справляется уже с резким перепадом настроений – впрочем, присущим любому поэту, тем более столь сильно и тонко чувствующему.

Но что делать, если таковы обстоятельства... Одухотворение творчеством – и бессмыслица жизни. Надежда «лучшего бытия» – и безнадежность вновь и вновь подступающего «помрачения»...

Конечно, у него оставалось спасение: любовь, семья, домашний круг. Недаром в стихах этого времени, помимо темы о назначении поэта, выделяется иная – о личном счастье, которое Боратынский не мыслит без семьи, без верной и преданной любви.

Стихотворение «Кольцо» («Дитя моё, – она сказала...») написано как раз в те годы.

«Дитя моё, – она сказала, –  
Возьмёшь иль нет моё кольцо? –  
И головою покачала,  
С участием глядя ей в лицо. –

Знай, друга даст тебе, девица,  
Кольцо счастливое моё,  
Ты будешь дум его царица,  
Его второе бытие.

Но договор судьбы ревнивой  
С прекрасным даром сопряжён,  
И красоте самолюбивой  
Тяжёл, я знаю, будет он.

Свет к ней суровый, не приметит  
Её приветливых очей,  
Её улыбку хладно встретит  
И не поймёт её речей.

Вотще ей разум дарованья,  
И чувств и мыслей прямота:  
Их свет оставит без вниманья,  
Обезобразит клевета. <...>

Но девы нежной не обманет  
 Моё счастливое кольцо:  
 Ей судия её предстанет,  
 И процветёт её лицо».

Внимала дева молодая,  
 Невинным взором весела,  
 И, тайный жребий свой решая,  
 Кольцо с улыбкою взяла.

Иди ж с надеждою весёлой!  
 Творец тебя благослови  
 На подвиг долгий и тяжёлый  
 Всезабывающей любви. <...>

Стихотворение обращено к Сонечке Энгельгардт, которой старшая сестра Настасья Львовна подарила кольцо. Боратынский не меньше своей жены желал барышне доброго и достойного мужа – как старший брат он наставляет свою любимицу на семейный подвиг, на *всезабывающую любовь*.

И до свершенья договора,  
 В твои ненастливые дни,  
 Когда нужна тебе опора,  
 Мне, друг мой, руку протяни.  
 (1832)

К 1832 году относят элегию Боратынского «Я не любил её, я знал...». Это – воспоминание об одной прошлой любви (адресат неизвестен):

Я не любил её, я знал,  
 Что не она поймёт поэта,  
 Что на язык души душа в ней без ответа;  
 Чего ж, безумец, в ней искал?  
 Зачем стихи мои звучали  
 Её восторженной хвалой  
 И малодушно возвещали  
 Её владычество и плен постыдный мой?  
 Зачем вверял я с умилением  
 Ей все мечты души моей?..  
 Туман упал с моих очей,  
 Её бегу я с отвращеньем! <...>

Осознание былой ошибки чувства разливает свой тайный яд даже по прошествии времени, – но принесёт ли бегство от недостойного предмета любви желаемое избавление? Ответа на этот невольно возникающий вопрос поэт не даёт. Очевидно лишь одно: своим признанием – *врачующим песнопеньем* – он желает разрешить – избыть – свою давнюю постыдную ошибку. О семье, о своём

нынешнем счастье тут ни слова, ни намёка: автор не хочет, чтобы сегодняшний ясный день был задет былым *туманом*. Однако душа живёт по своим законам, воспоминания без спросу приходят на ум, смущая его, – и потому поэт выносит прихотливой памяти свой, пусть и запоздалый, приговор.

Это воспоминание досадно и раздражительно для него: любовь к жене с годами только возрастает, становится полнее и глубже.

В одном из тогдашних стихотворений «Где сладкий шёпот...» описана жестокая зимняя буря и переживающий ненастье герой, *любимец счастья*, которого укрывает надёжный кров и которого согревает пылающая печь. Аллегория так очевидна, что поэт и не скрывает, что говорит о семье.

<...> О Провиденье,  
 Благодаренье!  
 Забуду я  
 И дуновенье  
 Бурь бытия.  
 Скорбя душою,  
 В тоске моей,  
 Склонюсь главою  
 На сердце к ней,  
 И под мятежной  
 Метелью бед,  
 Любовью нежной  
 Её согрет,  
 Забуду вскоре  
 Крутое горе,  
 Как в этот миг  
 Забыл природы  
 Гробовый лик  
 И непогоды  
 Мятежный крик.

Его благодарное чувство к подруге жизни за нежную любовь и понимание выражено просто и непосредственно. Это чистый отзыв души, младенческое дыхание поэзии.

Но душа глубока, необъятна – а внимание поэта к её жизни так пристально и зорко, что он подмечает в себе почти неуловимые оттенки чувств. Свидетельство тому одно удивительное стихотворение, написанное в 1832 году или, может быть, чуть позже:

О, верь: ты, нежная, дороже славы мне.  
 Скажу ль? Мне иногда докучно вдохновенье:  
 Мешает мне его волненье  
 Дышать любовью в тишине!  
 Я сердце предаю сердечному союзу:  
 Приди, мечты мои рассей,  
 Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!  
 И покори себе бунтующую музу.

Стихотворение посвящено жене, Настасье Львовне, – такого Боратынский не писал никогда и никому.

Филолог Евгений Лебедев в своей книге о Боратынском «Тризна» назвал эти стихи *поразительными* – не имеющими «даже отдалённого подобия ни у предшественников, ни у современников».

Действительно, никто из поэтов так не обращался со своей *Музой*, Боратынский открыто предпочитает ей сердечный союз и любовь в тишине, то есть жену и семейное счастье. *Муза*, она чрезвычайно ревнива и не терпит ни малейшей измены, – коли отвергать её, мало быть творцом несуетным, но надо быть готовым безбоязненно распрощаться навсегда с нею, дарительницей вдохновения.

По существу, Боратынский признался в том, что способен навек оставить поэзию.

Подтверждением тому служат и его слова в письме к Вяземскому, кому он заметил, что, *кажется, ничего больше не прибавит* к намечаемому собранию стихотворений.

Было ли то отзвуком временного уныния или укоренившейся безнадежности?..

Но чувство в стихотворении к жене так живо и горячо, а тон столь неподдельно искренен, что становится ясно: лишь *всезабывающая любовь* способна на такое признание.

Евгений Лебедев пишет:

«До сих пор, когда перед поэтом вставал вопрос о том, что важнее: любовь или поэзия? – он отдавал своё предпочтение “святому ремеслу”, больше того, отводил любви второстепенную роль сырого материала, из которого гений творит новый мир, закрытый для виновницы его создания (пчела не делится мёдом с цветком, как об этом сказано в стихотворении “Лиде”). И вот теперь в жизнь поэта вошла такая любовь, перед которой “поэзия святая” пасует, вдохновение становится “докучным” <...> и примирения “болящий дух” поэта ждёт уже не от “песнопенья”, а от любви. Живая жизнь важнее поэтического слова о жизни – вот о чём говорят эти стихи. Здесь – предвосхищение пронзительных стихов Ф. И. Тютчева из так называемого “денисьевского цикла”, где та же истина переживается поэтом уже трагически. Но заметьте себе – та же самая истина. Более сорока лет спустя Ф. М. Достоевский в “Сне смешного человека” (1877) устами своего героя подведёт итоги освоения этой истины русскими писателями (которые <...> со времён Аввакума бились над нею) и в замечательно простых терминах сформулирует великую этическую задачу, стоящую перед человеком вообще и перед писателем в частности: “Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья – выше счастья – вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас всё устроится”».

Всё это, конечно, так, если бы не одно «но», которое замечаешь, внимательно читая стихотворение:

<...> Мне *иногда* докучно вдохновенье <...>.

То бишь поразительное признание – связано с минутным настроением.

Исключение не отменяет правила: любовь ещё отнюдь не покорила «бунтующую музу», как бы того, быть может, ни желал сам поэт.

В конце концов жизнь показала, что вдохновение не только не оставило Боратынского, а подарило его ещё более совершенными стихами. А значит – *Муза* простила его...

Однако и *любовь* – вознаградила за верность:

Своенравное прозвание  
 Дал я милой в ласку ей:  
 Безотчётное создание  
 Детской нежности моей;  
 Чуждо явного значенья,  
 Для меня оно символ  
 Чувств, которых выраженья  
 В языках я не нашёл.  
 Вспыхнув полною любовью  
 И любви посвящено,  
 Не хочу, чтоб суесловью  
 Было ведомо оно.  
 Что в нём свету? Но сомненье  
 Если дух ей возмутит,  
 О, его в одно мгновенье  
 Это имя победит.  
 Но в том мире, за могилой,  
 Где нет образов, где нет  
 Для узнанья, друг мой милой,  
 Здешних чувственных примет,  
 Им бессмертье я привечу,  
 Им к тебе воскликну я,  
 И душе моей навстречу  
 Полетит душа твоя.

(1832)

### Встречи и расставания

После запрещения журнала «Европеец» Евгений Боратынский, наверное, понял, как резко сократилось, ужалось, а может, и почти сошло на нет то пространство, которое он привык считать *своим*. В этом пространстве прежде обитали его друзья, жили его стихи, существовали его читатели, – там ощущалась незримая, тонкая связь между его творческим духом и излучением других душ, откликающихся на слово. Ему было больно сознавать, что такой великолепный критик, как Иван Киреевский, отныне отлучён и, по-видимому, надолго – от русского читателя. Поэт старался ободрить друга – а вместе с ним, пожалуй, и самого себя:

«<...> Неужели ты с тех пор ничего не пишешь? Что твой роман? Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделял бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления <...>».

Летом 1832 года поэт с семьёй отправился из Казани в Тамбовскую губернию, в Мару: пора было навестить мать, Александру Фёдоровну. Ему не слишком хотелось ехать на родину: отношения с некогда горячо любимой маменькой в последние годы разладились. Скрыть это было невозможно, тем более в собственной семье и родне.

В письме к Софье Энгельгардт, написанном в июне вместе с женой, есть совершенно для него непривычные по откровенности слова, раньше просто немислимые: «Мы отправляемся в Мару, любезная Софи, и я вполне этим доволен, ибо это путешествие было неизбежно в этом или следующем году, и чем долее оно откладывалось бы, тем более неприятным бы стало. Ты не можешь представить себе ни того, какую жестокою боль причиняет мне поведение маменьки по отношению ко мне, ни того, как борются во мне негодование и чувство почтения, которое я обязан питать к ней как сын. <...> мы будем с нею вежливо обходительны. <...> станем утешаться тем, что на несколько лет вперёд мы будем свободны <...>» (перевод с французского).

По дороге, в Пензе, Боратынский повстречался с Денисом Давыдовым. Был разгар ярмарки: они вместе гуляли по рядам, весело говорили обо всём на свете и досадовали, что нет сейчас рядом ни Вяземского, ни Пушкина...

Прошло несколько дней, и Боратынский вдруг раздумал ехать в Мару и повернул в Москву. Возможно, уступил просьбам жены, которая снова была беременна и плохо переносила утомительную дорогу. К тому же Настасье Львовне ещё сильнее, чем мужу, не хотелось гостить в Маре: накануне поездки она жаловалась младшей сестре на *гадких марцев*, с которыми нет желания видеться.

Лето, как повелось, провели в Мураново, а осенью вернулись в Москву. Боратынский принялся собирать для издания свою вторую книгу стихов, куда задумал поместить и поэмы.

В конце сентября в Москву приехал Пушкин; заглядывал в гости. Жене, Наталье Николаевне, писал в Петербург: «<...> Кто тебе говорит, что я у Баратынского не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера был у него. Мы всякой день видимся <...>».

Пушкин, узнав о книге, обещал переговорить с издателем Смирдиным – и слово своё сдержал: условился об издании собрания стихов, причём на выгодных для поэта условиях.

В октябре у Боратынских родился ещё один ребёнок – сын Дмитрий.

После деревенского уединения поэт снова радуется приятельству и товарищескому кругу: он познакомился с декабристом М. Ф. Орловым, ближе сошёлся с писателями: Н. Ф. Павловым, которого от души полюбил, А. С. Хомяковым, Н. А. Мельгуновым, А. И. Кошелевым, П. Я Чаадаевым. Настроение Боратынского явно улучшилось, – его письмо к Вяземскому в Петербург дышит весёлостью: «<...> В кругу, который некогда был вашим привычным, ещё чувствительнее ваше удаление. Д. Давыдов прислал мне начало вашего послания к нему, в котором вы поэтически подделались к его слогу. Он думает недели на две прискакать в Москву. Не решитесь ли и вы последовать его примеру и пригласить с собою Пушкина? Тогда слово будет делом, тогда

Будут дружеской артели  
Все ребята налицо <...>».

В Москве Боратынские вели жизнь «самую простую», как сообщал отец Пушкина, Сергей Львович, своей дочери Оленьке, близкой подруги Настасьи Боратынской. «<...> Встают в семь утра во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в 9 часов вечера и никогда не выступают из этой рамки, что не мешает им быть всем довольными, спокойными, – следовательно, счастливыми <...>». А мать Пушкина, Надежда Осиповна, пишет дочери, что видала Боратынских у обедни, когда они причащались...



В январе 1833 года московские литераторы задумали к Светлому Воскресению издать альманах «Шехеризада». Н. Мельгунов писал А. Веневитинову в Петербург, что участники – «все наши», и звал его быть «вкладчиком»: «<...> Два, три раза в неделю мы все в сборе; дамы непременно участницы наших бесед, и мы проводим время как нельзя веселее: Хомяков спорит, Киреевский поучает, Кошелев рассказывает, Баратынский поэтизирует, Чаадаев проповедует или возводит глаза к небу, Герке дурачится, Мещерский молчит, мы остальные слушаем; подчас наша беседа оживляется хором цыган, танцами, беганьем взапуски <...>».

Боратынского увлекла затея с альманахом; он приглашает участвовать Вяземского и Пушкина, а заодно подключить к посильной вкладчине Гоголя и Козлова. Передаёт через Вяземского поклон Пушкину: «Я ему очень благодарен за участие, которое он принял в продаже полного собрания моих стихотворений. Я ему обязан тем, что продал его за семь тысяч вместо пяти <...>».

Ему нравились дружеские сборища с продолжительными беседами, которые отнюдь не были пустой светской болтовнёй: это были разговоры людей молодых, даровитых и умных – *аристократов духа*. Вяземский называл такое общение – *словесным факультетом*, «<...> который из любви к искусству для искусства и к слову для слова расточительно преподавал своё учение». Боратынский ценил именно такое общение, оживлённое, как он однажды писал Киреевскому, истинным *разговорным вдохновением*, «то есть взаимною доверенностью и совершенною свободою». В кругу московских литераторов он прослыл отменным спорщиком, остроумным и глубоким собеседником.

Ещё полнее он высказывался – наедине с заветным другом. Иван Киреевский в письме от 17 мая 1833 года к Владимиру Одоевскому пишет, как они прощались с Боратынским в канун его отъезда в Мару: «<...> Последнее воскресенье провели мы с Барат<ынским> вдвоём, и в пустом доме нашем нам одним стало так *innsinnlich* <бесчувственно>, что мы опорожнили *несколько* бутылок, и всё не наладились». О многом же, верно, было переговорено в этом грустном расставании в пустом доме, за вином... Впоследствии в памятном слове о поэте Киреевский писал:

«Стихи Боратынского отличаются теми же качествами, какие составляли особенность его поэтической личности: утонченность наружной отделки всегда скрывает в них сердечную мысль, глубоко и заботливо обдуманную. Но между тем сколько ни замечательно их поэтическое достоинство, однако они ещё не вполне высказывают тот мир изящного, который он носил в глубине души своей. Рождённый для искреннего круга семьи и друзей, необыкновенно чувствительный к сочувствию людей близких, Баратынский охотно и глубоко высказывался в таких дружеских беседах и тем заглушал в себе иногда потребность выражаться для публики. Излив свою душевную мысль в дружеском разговоре, живом, разнообразном, невыразимо-увлекательном, согретом теплотою чувства, проникнутом изяществом вкуса, умною, всегда уместною шуткою, дальновидностью тонких замечаний, поразительной оригинальностью мыслей и особенно поэзией внутренней жизни, Баратынский часто довольствовался живым сочувствием своего близкого круга, менее заботясь о возможных далёких читателях <...>».

В конце мая Боратынские покинули Москву и отправились в Мару. Элегия «Запустение», написанная в это время, наполнена тихой и ясной грустью воспоминания о родной усадьбе, об отце.

<...> Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!  
Ещё прекрасен ты, заглохший Элизей,  
И обаянием могучим  
Исполнен для души моей <...>.

В Маре жила маменька с сёстрами и брат Сергей со своей семьёй.

Боратынские поселились в стороне от барского особняка, в доме дяди, для чего пришлось заново обустроить жилище. Маменька, Александра Фёдоровна, «<...> великодушно на это согласилась, но мы обедаем и ужинаем у неё, что несколько неудобно; это меня будет стеснять, в особенности тогда, когда я что-то пишу», – писал Боратынский Соничке Энгельгардт, у которой они с женой оставили своего младенца Митиньку (*перевод с французского*).

Поэт тяжело переживал натянутые отношения с родными: не мог забыть «зимние склоки» и прочие угнетающие его «сцены». Он явно не желал называть причину всего этого, но, похоже, она была в отношениях матери и сестёр с женой, Настасьей Львовной. Мать, Александра Фёдоровна, пребывала большей частью в глубокой ипохондрии...

Отстраняясь от разборок, Боратынский вёл существование монотонное и в то же время беспокойное. Впрочем, однажды он всё же достаточно подробно поведал свояченице домашние печали: «<...> Благодарю тебя, мой милый ангел, за всё, что ты нам пишешь. Твоя добрая и нежная душа дышит в каждой строчке. Не упрекай меня за умеренность, с какой я веду себя здесь. Я чувствую ко всему, что происходит, великолепное равнодушие. Перейдена какая-то граница, и отношения, некогда столь тяжкие, сделались в высшей степени простыми. Решившись не горячиться и не говорить ледяным голосом, я не выхожу из себя, с кем бы ни беседовал. Я безупречно вежлив, исполнен дружелюбия, не возвращаюсь к прошлому, словно оно забыто ко всеобщей выгоде. Забавно, что здесь не замечают происшедшей со мной разительной перемены и ещё обращаются ко мне с тем притворством, которым так долго меня дурачили. Всё это весьма печально: после тридцати лет нежности и любви найти такой холод в отношениях с теми, кого любил. Я в этом не виноват <зачёркнута одна строка> – вот что меня утешает <...>».

Но вот что особенно его мучит:

«Перестав любить, даже с полным на то правом, всегда чувствуешь, что стал хуже, чем прежде, и сам жалеешь об этом» (*перевод с французского*).

Гейр Хетсо, внимательно изучивший переписку Боратынских с Софьей Энгельгардт и другие свидетельства, пришёл к выводу, что «<...> именно в это время неприязненные отношения Настасьи Львовны с родными мужа чрезвычайно обострились. <...> Правда, многое в этих письмах остаётся неясным. Подозрительная от природы Настасья Львовна прибегала часто к шифру, ключ к которому нам неизвестен. Но совершенно очевидно, что её отношение к сёстрам и братьям мужа (особенно к Льву Абрамовичу), не говоря уже о свекрови, к этому времени приняло весьма враждебный характер. Дело дошло до того, что мать поэта перестала показываться в гостиной и не являлась даже к обеду.

В результате всех этих унижительных семейных неприятностей, вынуждавших его, в частности, быть посредником между женой и матерью, Боратынский впадает в хандру и апатию <...>».

И былого досуга, так необходимого для творчества, в Маре уже не стало: Боратынского обуревали хлопоты по хозяйству, а те братья, что проживали в Маре, не годились в помощники.

В конце лета мать с детьми: Евгением, Ираклием, Львом, Сергеем, Софией, Натальей и Варварой подали прошение о разделе имения Мары. Как сказано в документе, из 1250 крестьян мужского пола, числящихся по ревизской сказке в Вяжле, Евгению Боратынскому по разделу досталось «<...> мужеска пола сто девяносто четыре души, с их жёнами, вдовами, девками, внучаты, приимуши, подкидуши и рождёнными после 7-й ревизии обоого пола детьми, с их домами, дворами, строением, скотом, птицею, усадебными местами, хлебом, в гумнах их стоящим и в землю посеянным».

В сентябре Боратынский отправился по хозяйственным делам в Каймары – и в Казани вдруг встретился с Пушкиным, который держал путь в Оренбург за материалами о Пугачёвском бунте. Казанская поэтесса Александра Андреевна Фукс вспоминала, с каким весёлым лицом вошёл к ней Боратынский, чтобы попрощаться: «<...> мне стало даже досадно», – так поэт был обрадован неожиданным свиданием с Пушкиным. И тот и другой торопились по своим делам, но всё же немного задержались в Казани по такому случаю. Вместе проехали по *пугачёвским местам* города и окрестностей, беседуя на ходу. Денис Давыдов, узнав об этом, решил, что коль поэты сообща отыскивали сведения о Пугачёве, то не иначе «в союзе для сочинения какого-нибудь романа» о бунтовщике.

Лето 1833 года выдалось необычайно жарким и засушливым: в Маре дела с урожаем были плохи. «Я весь погряз в хозяйственных расчётах, – писал Боратынский Киреевскому. – Немудрено: у нас совершенный голод. Для продовольствия крестьян нужно нам купить 2000 четвертей ржи. Это, по нынешним ценам, составляет 40000. Такие обстоятельства могут заставить задуматься. На мне же, как на старшем в семействе, лежат все распорядительные меры <...>».

Почти все в Маре уговаривали Александру Фёдоровну не покупать хлеба для прокормления крестьян, то есть пойти на «<...> поступок столь же бессердечный, сколь опасный при нынешних обстоятельствах», как писала сестре Настасья Львовна. Но Евгений Боратынский настоял на том, чтобы купить хлеб и выручить людей.

В Маре гостил тогда племянник Антона Дельвига – воспитанник его жены Софьи Михайловны. В его воспоминаниях запечатлены некоторые сведения о жизни в усадьбе. Так, А. И. Дельвиг пишет, что во всё своё пребывание ни разу не видал матери поэта – «больной старушки». Не показывался в доме и брат Лев Абрамович, женатый «на своей крепостной»: «<...> Он был большой пьяница». «Все четверо братьев Баратынских, – добавляет мемуарист, – любили выпить более должного. <...> Жизнь в деревне у Баратынских была устроена на английский манер, вероятно, в подражание их соседу Кривцову, большому англomanу, человеку очень умному, но взбалмошному до неистовства <...>. – Утро в деревне Баратынских посвящалось занятиям каждого в своём помещении; все собирались к часу пополудни вместе завтракать; после завтрака некоторые оставались в общей зале, другие расходились до обеда, который подавался в семь часов вечера».

Софья Михайловна Боратынская-Дельвиг к тому времени уже три года прожила в Маре с мужем, Сергеем Абрамовичем. Сохранилось её письмо к подруге, А. Н. Карелиной, с признанием, что она «вовсе не счастлива» в семействе мужа,

хотя дело отнюдь не в нём, «молодом человеке редкого благородства»: «<...> я веду очень уединённую жизнь, будучи или беременною, или кормя детей, – что освобождает меня от визитов; мы тоже мало кого принимаем у себя: соседей у нас хоть и много, но лишь немногие ездят к нам, так как моя свекровь почти всегда находится в состоянии глубокой ипохондрии и не любит видеть у себя гостей. <...> Но то, что способствует украшению нашего уединения, это – присутствие моего шурина Евгения (поэта), который этим летом приехал, чтобы поселиться здесь со своими женою и детьми. Он счастливее нас, так как построил себе отдельный дом, сбоку от большого дома. Что это за человек, мой друг! Это поистине поэтическая душа! Какой возвышенный ум, какая нравственная чистота, какая высота чувств! У него много сходства в нравственном мире с моим покойным мужем. Ты знаешь, что они были связаны с ним как братья. Мы часто говорим о нём, это так сладко для меня. Его жена – особа, достойная его, они очень счастливы. Итак, чтобы дать тебе представление об этом семействе, скажу тебе, что эти столь благородные существа в нём не любимы... Им завидуют за их достоинства, за их превосходство. Как настоящие гарпии, они хотели бы пустить яду даже в их домашнее счастье. И только мой муж, у которого благородная душа, способен ценить достоинства Евгения, восторгаться им и понимать его. Поэтому они очень тесно связаны, и это наполняет моё сердце радостью» (*перевод с французского*).

Даже если Софья Михайловна что-то и преувеличила по пылкости и в чём-то ошиблась, картина отчётливая; сам же поэт просто признавался свояченице: «Здесьняя жизнь не по мне».

К зиме Боратынскому, видимо, удалось освободиться от хозяйственных забот: письма его к Ивану Киреевскому, летом и осенью редкие и короткие, сделались более обстоятельными. Стало заметно: у него появилось время для чтения. Поэт взыскательно разобрал прозу Бальзака: «<...> Постоянное притязание на глубокомыслие не совсем скрывает его французскую ветреность. Как признаться мыслителю, что он не достиг ни одного убеждения и ещё более, не смешно ли хвалиться этим!» Сравнив эссе французского писателя с критической прозой Киреевского, Боратынский пишет: «Ты можешь быть Бальзаком с двумя или тремя мнениями, которые дадут тебе точку опоры, которая ему недостаёт, с языком более прямым и быстрым, и столько же отчётливым <...>».

В другом письме к другу Боратынский ненароком высказал свою заветную мечту.

Рассуждая на тему, какая жизнь предпочтительнее: светская или затворническая? – видимо, это волновало Киреевского, коль скоро он «возобновил этот вопрос», – Боратынский отвечает, что для развития необходимы *и та и другая*: «<...> Нужно получать впечатления, нужно их и резюмировать. <...> Остаётся определить, в какой доле одно будет к другому. Это зависит от темперамента каждого. Что касается до меня, то я скажу об обществе то, что Фамусов говорит об обедах:

Ешь три часа, а в три дня не сварится.

Ты принадлежишь новому поколению, которое жаждет волнений, я – старому, которое молило Бога от них избавить. Ты назовёшь счастьем пламенную деятельность; меня она пугает, и я охотнее вижу счастье в покое. Каждый из нас

почерпнул сии мнения в нашем веке. Но это – не только мнения, это – чувства. <...> Ежели бы теоретически каждый из нас принял систему другого, мы всё бы не переменялись существенно. Потребности наших душ остались бы те же. Под уединением я не разумею одиночества; я воображаю

Приют, от светских посещений  
Надёжной дверью запертой.  
Но с благодарною душой  
Открытый дружеству и девам вдохновений.

Таковой я себе устрою рано или поздно и надеюсь, что ты меня в нём посетишь <...>».

Устроил ли он себе это?.. – большой вопрос.

Другое куда как очевиднее: Иван Киреевский чаемое им уединение – не посетил...

Самого же Боратынского тогда гораздо сильнее волновало другое: соотношение жизни общественной и жизни индивидуальной, – и он напрямую задавал об этом вопрос Киреевскому:

«<...> Сколько человек по законам известной совести должен уделить первой и может дать последней? Законны ли одинокие потребности? Какие отношения и перевес (balance) наружной и внутренней жизни в государствах наипаче просвещённых, и что в России? Я бы желал видеть сии вопросы обдуманно и решёнными тобою <...>».

Тут явно речь о гражданском долге, – и, понятно, поэту необходимо всё это решить прежде всего для себя самого. А стало быть, *счастье в покое* отнюдь не удовлетворяло его и казалось неполным.

Той осенью и зимой в Маре Боратынский почти ничего не написал. Только читал корректуру своей книги, присылаемую из Москвы издателем Ширяевым, которому Смирдин продал права на издание. К началу 1834 года в типографии набрали лишь 1-ю часть книги, где были помещены одни стихотворения. Набор и чтение шли очень медленно: 2-ю часть книги – с поэмами – поэт вычитывал весь 1834 год, а сама книга появилась только в апреле 1835 года.

Известно лишь одно произведение, написанное им в ту пору: *предисловие в стихах*, которым Боратынский намеревался открыть своё полное собрание стихотворений. Это был огляд и собственной жизни и того, что сделано в поэзии:

Вот верный список впечатлений  
И лёгкий и глубокий след  
Страстей, порывов юных лет,  
Жизнь родила его – не гений.  
Подобен он скрыжали той,  
Где пишет ангел неподкупный  
Прекрасный подвиг и преступный –  
Всё, что творим мы под луной.  
Я много строк моих, о Лета!  
В тебе желал бы окунуть  
И утаить их как-нибудь

И от себя и ото света...  
Но уж своё они рекли,  
И что прошло, то непреложно.  
Года волненья протекли,  
И мне перо оставить можно.  
Теперь я знаю бытиё.  
Одно желание моё –  
Покой, домашние отрады.  
И, погружён в самом себе,  
Смеюсь я людям и судьбе,  
Уж не от них я жду награды.  
Но что? С бессонною душой,  
С душою чуткою поэта  
Ужели вовсе чужд я света?  
Проснуться может пламень мой,  
Ещё, быть может, я возвышу  
Мой голос, родина моя!  
Ни бед твоих я не услышу,  
Ни славы, струны утая.

По неизвестным причинам это *предисловие в стихах* – в книге не вышло; оно впервые было напечатано только в 1936 году. Но Киреевский прочёл это стихотворение: Боратынский привёл его в том письме.

Письмо же это к Ивану Киреевскому, февраля 1834 года, оказалось последним: вскоре их дружба с Боратынским разладилась, а переписка оборвалась...

*Окончание следует*

